

НОВАЯ ПОЛЬША

№9₍₇₈₎



2006

О ЕЖИ ГЕДРОЙЦЕ
В 6-Ю ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ ПИШУТ
Горбаневская, Мерошевский, Мицнер,
Помяновский, Снядовер, Шаруга

Леон Гомолицкий о Дмитрие Философове

Анджей Литворня: Мицкевич в римском доме Хлюстиных

СТИХИ СТАНИСЛАВА ГРОХОВЯКА

ХРОНИКИ Виктора Кулерского,
Янины Куманецкой и Лешека Шаруги

ВАРШАВА

ISSN 1508-5589

Приглашаем всех читателей посетить интернет-сайт «Новой Польши»:
www.novpol.ru



PKO BANK POLSKI

ПОЛЬСКИЙ БАНК «ПКО»

главный спонсор

деятельности Национальной Библиотеки в 2006 году

НОВАЯ ПОЛЬША



№ 9(78)
2006
сентябрь

ISSN 1508-5589

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК



Лешек Шаруга 3
НЕЗАВИСИМОСТЬ «КУЛЬТУРЫ»

Ежи Помяновски 8
ВЛАДЕНИЯ КОРОЛЯ БЕЗЗЕМЕЛЬНОГО

Петр Мицнер 13
РЕДАКТОР

Юлиуш Мерошевский 16
МИФЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Люциан Снядовер 21
ЕЖИ ГЕДРОЙЦ И «КОНТИНЕНТ»

Наталья Горбаневская 23
УЛЬ, СНГ, ЕС



Виктор Кулерский 25
ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ



Леон Гомолицкий 32
ВОСПОМИНАНИЯ О ДМИТРИИ ФИЛОСОФОВЕ



Войцех Станиславский 35
СОГЛАСИЕ И РАЗДОРЫ



Анна Миркес-Радзивон 41
НЕ ЛИСТАЙ СТРАНИЦЫ! ВОСКРЕСИ!



Юзеф Чехович 45
РЕЧЬ ИЗГНАННИКОВ



Петр Мицнер 45
СРЕДИ СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ



Станислав Гроховяк 48
СТИХОТВОРЕНИЯ

Анджей Титков 54
СТАНИСЛАВ ГРОХОВЯК — ТРИ ЭПИЗОДА

Яцек Лукасевич 55
ГОРЯЩАЯ ЖИРАФА



Александр Юревич 60
ПОДЛИННАЯ БАЛЛАДА О ЛЮБВИ



Анджей Литворня 64
ДОМ ХЛЮСТИНЫХ



Эдвард Бальцежан 69
ПОЗДНЯЯ ДРУЖБА



Янина Куманецкая 72
ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ



Лешек Шаруга 77
ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ



ПАТРИОТ НЕ МОЖЕТ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ПОЛИТИКОЙ 80
Беседа с Лешек Бальцеровичем

Переводчики: А. Базилевский, А. Бондарев, И. Горбаневская, Н. Кузнецов, М. Курганская, Ю. Левитанский, А. Миркес-Радзивон, Д. Самойлов, С. Свяцкий, Е. Шиманская

Фото ©: Agencja Gazeta (стр.69), Archiwum (стр. 55, 59), Archiwum A. Dabrowskiego (стр. 46), Archiwum J. Timoszewicza (стр. 32), E. Lempp (стр. 3, 8), D. Łomaczewski (стр. 47)

Редационный совет

Стефан Братковский
Хенрик Возняковский
Наталья Горбаневская
Ежи Клочовский
Кароль Модзелевский
Януш Тазбир
Станислав Цёсек

Ежи Помяновский

(главный редактор)

Редколлегия

Элиза Вольская
Наталья Горбаневская
Никита Кузнецов
Виктор Кулерский
Янина Куманецкая
Петр Мицнер *(зам. гл. редактора)*
Кристина Пашек *(секретариат)*
Гжегож Пшебинда
Ежи Редлих
(зам. гл. редактора, секретарь редакции)
Лешек Шаруга
Дмитрий Шевионков-Кисмелов
(главный художник)

Графика и макет

Дмитрий Шевионков-Кисмелов

Техническая редакция

Кацпер Ванчик

Адрес редакции

Al.Niepodległości, 213
02-086 Warszawa
Ал. Неподлеглости, 213
02-086 Варшава
тел: (0-22) 608 27 95; 608 25 65
факс: (0-22) 608 25 05; 608 27 96
e-mail: nowpol@bn.org.pl

Информация о журнале

для стран СНГ:
Издательство МИК, Москва,
ул. Большая Переяславская,
д.15, кв.49
тел: 621-41-42
e-mail: mic@inbox.ru

Журнал издается под патронажем
Национальной Библиотеки
по поручению Министра Культуры
и Национального Наследия
Республики Польша

Тираж 4800 экз.



Лешек Шаруга

НЕЗАВИСИМОСТЬ «КУЛЬТУРЫ»

1.

Можно сказать, что на пороге послевоенного периода у поляков возникли три главных центра независимой интеллектуальной жизни, важных в исторической перспективе и в более поздние годы успешно продолжавших свою деятельность. Первый действовал на родине и подвергался всем ограничениям, связанным с этим фактом: он был создан краковским «Тыгодником повсехным» под редакцией Ежи Туровича и кругом авторов и читателей этого краковского еженедельника. Два других были созданы в изгнании и формировались вокруг лондонских «Вядомостей» и парижской «Культуры», которую возглавлял Ежи Гедройц. Взаимоотношение и взаимная напряженность, возникавшие в этом треугольнике, еще ждут исследования — особенно важным представляется изучение переписки представителей этих трех кругов, деятельность которых различалась как с тактической точки зрения, так и со стратегической. Одно все-таки, кажется, не подлежит сомнению: все три центра были настроены на спасение суверенности польской политической мысли, все три характеризовались также особым вниманием к культуре, в первую очередь к литературе. Принципиальная разница их позиций вытекала из отношения к общественно-политической действительности в Польше. Лондонские «Вядомости» эту действительность отвергали во имя сохранения своеобразной фикции политической непрерывности Второй Речи Посполитой. «Тыгодник повсехный», в эту действительность погруженный, принял подход, верно определенный в «Моральном трактате» Чеслава Милоша как возможность влиять на «лавины бег» — разумеется, с учетом существующих ограничений. И, наконец, «Культура», живя в условиях, позволяющих полную свободу слова, с самого начала была настроена на диалог со страной, одновременно стремясь наблюдать общественно-политические реалии ПНР. Как для «Тыгодника повсехного», так и для «Культуры» сохранение государственной непрерывности было откровенной утопией, что, кстати, отразилось в прямом заявлении коллектива «Института литературного» [«Литературного института, издательства «Культуры»] («Тыгодник повсехный наверное и не мог, и не хотел бы в тогдашних условиях делать подобные заявления) относительно необходимости — когда Польша станет независимой — отказаться от утраченных восточных земель; на страницах «Вядомостей» такое высказывание было бы невозможным ввиду того, что газета безоговорочно поддерживала линию правительства в изгнании, которое требовало восстановить довоенную восточную границу, одновременно считая принципиальным признание дарованной Польше после войны западной границы.



Ежи Гедройц в Мезон-Лаффите

2.

Фундаментом деятельности «Культуры» было обеспечение ей независимости, в том числе — а может быть, прежде всего — и финансовой. В первый период своего существования журнал бился с немалыми трудностями. Тем не менее с самого начала было очевидно, что в поисках финансовой поддержки нельзя поставить себя в зависимость от каких-либо польских или иностранных политических центров. Комментируя свое отношение к положению, царившему в эмигрантской среде, Гедройц писал в 1949 г писателю Анджею Бобковскому:



«Положение в Лондоне как со стороны президента, так и, громко сказано, партий такое паршивое, что мы на днях собираемся с Юзем [Юзефом Чапским] в Лондон, чтобы сказать им пару слов правды и окончательно расстаться с этим обществом. Понятное дело, это будет расставание фактическое, потому что нет смысла устраивать какие-то расколы, скандалы и т.п. Сведется к тому, что мы перестанем просить у них деньги и получим полное моральное право действовать самостоятельно, руководствуясь только своей совестью и интуицией».

Два года спустя схожий вопрос Гедройц разъяснял в переписке с Ежи Стемповским. Он писал, что «разложение политической эмиграции и сведение всего к борьбе теней за фиктивные звания и посты и за отнюдь не фиктивные остатки денег все больше принуждает нас к самостоятельному ведению политики. Думаю, что попытка сотрудничества с американцами не тождественна превращению в агента, берущего денежки, так же как попытка разговоров с немцами не равнозначна симпатиям к гитлеризму и отказу от Западных земель».

Повторяющиеся кампании «Культуры» за приобретение числа подписчиков, позволяющего выжить; всеобщий сбор средств, прежде всего на покупку помещения редакции в Мезон-Лаффите; поиски меценатов, готовых оплатить издание одного номера журнала, — все это составляет увлекательный сюжет в жизни созданного Ежи Гедройцем центра. Несомненно, однако, что несколько раз журнал оказывался в положении, когда планировать номера, кроме текущего, выглядело занятием беспредметным. В переписке Гедройца, особенно в первые годы существования «Культуры», повторяются фразы, свидетельствующие не только о его упорстве, но и о юморе: «„Культура“ прекрасно разрастается и, собственно говоря, полностью обанкротилась, что не портит нам настроения и не мешает докучать эмиграции и строить все более безумные планы».

В то же время это чувство независимости и забота об авторском аспекте «Культуры» не ограничивались только финансовыми вопросами. Существование журнала стало тесно связано с личностью его редактора, его манерой работы и чувством миссии. Интересно отметить, что довольно рано возник вопрос о наследовании и что уже тогда, в 1952 г., Гедройц принял решение, которое в позднейший период, а также после его смерти возбуждало острые споры, — решение прекратить издание «Культуры» со смертью ее создателя.

Еще одним важным фактором, позволившим «Культуре» сохранить свою независимость, была характерная черта самого Гедройца. Он говорил о ней в «Автобиографии в четыре руки» [написана в сотрудничестве с Кшиштофом Помяном], где, оценивая работу «коллектива „Культуры“», подчеркивал, что «хотя (...) для меня он был чем-то в высшей степени реальным, но для его членов он вовсе не существовал», и указывал главный принцип сотрудничества с «коллективом»: «Я всегда был лоялен ко всем своим сотрудникам, хотя это втягивало меня в конфликты с некоторыми из них, когда они ссорились друг с другом, а мне приходилось становиться на чью-то сторону».

3.

Урок, который сегодня представляет собой наследие «Культуры», не будет до конца понят, если не выделить два периода деятельности журнала и самого Ежи Гедройца. По очевидным причинам необычайно важно первое десятилетие, то есть и время, когда кристаллизовалась программа журнала и сам его коллектив, и время борьбы за материальное выживание «Культуры». Но столь же важно и последнее десятилетие — время, когда Польша обрела государственный суверенитет, когда подавляющее большинство политических учреждений, созданных за границей, перестало функционировать и когда, как могло бы казаться, нет никаких оснований к тому, чтобы они продолжали функционировать. Символическое признание лондонским правительством государственной непрерывности Второй и Третьей Речи Посполитой было подчеркнуто передачей знаков власти президентом в изгнании Качоровским президенту Валенсе. Тем не менее «Культура» не отказалась от своей миссии — наоборот, она стала как будто динамичней, во всяком случае сохранила критическую дистанцию по отношению к преобразованиям в Польше.

Похоже, что эта позиция как в начальный период, так и во времена после обретения Польшей государственного суверенитета была результатом принятого в «Культуре» стиля политического мышления, который мы находим еще в редактировавшихся Гедройцем в межвоенный период «Бунте молодых» и «Политике». В основополагающие элементы этого стиля мышления входило: неустанно формулировать новые решения и изучать взаимозависимость между общественным сознанием и системой политического устройства. В письме, написанном в 1951 г. Мельхиору Ваньковичу, Гедройц прямо формулировал, какую роль должна сыграть «Культура»:

«Я не чувствую себя в силах создавать историческое течение. Моих амбиций хватает лишь на стремление создать экспериментальную мастерскую, в которой изучают анализируют, извлекают выводы и эти выводы стараются провести в жизнь. (...) Понимаю, что многое может Вам не нравиться, но тогда прошу спорить, предложить другое решение, одним словом: сотрудничать. Я не хочу ни превращать „Культуру“ в капличку, ни формулировать догматические тезисы».



Таким образом, «Культура» должна была стать своего рода политическим клубом, довольно разнородным, открытым к различным мнениям — за исключением крайних как слева, так и справа.

В первом номере журнала цели и задачи коллектива, собравшегося вокруг него, изложены в трех пунктах:

«„Культура“ стремится позволить польским читателям, которые, выбрав политическую эмиграцию, оказались за границами родной страны, осознать, что культурный круг, в котором они живут, — это не вымерший круг.

„Культура“ стремится дойти к польским читателям на родине и укрепить в них веру в то, что близкие им ценности еще не рухнули под обухом грубой силы.

„Культура“ желает искать в мире западной цивилизации ту „волю к жизни“, без которой европеец вымрет, как вымерли некогда „правящие слои былых империй“».

Неслучайно и то, что в этом заявлении авторы сосредотачиваются на вопросах культуры, а не политики — политика оказывается, как это уже было видно из журналов, редактировавшихся Гедройцем в межвоенный период, функцией культуры. Культурные ценности определяют смысл политических начинаний, становятся решающими в значении этих начинаний перед лицом опасностей, которые встали после войны перед европейской цивилизацией. Одно как будто было для «Культуры» неопровержимым — факт, что эта цивилизация стоит на пороге нового кризиса, в том числе и кризиса государственного и общественного устройства. Как писал в 1951 г. о. Юзеф Мария Бохенский в «Демократическом манифесте», подписанном коллективом «Культуры»:

«Я хочу особо подчеркнуть, что речь идет о *нравственном* чувстве. Капитализм мы отвергаем не потому, что он экономически вреден; быть может, экономически он лучше любого другого устройства. Мы отвергаем его потому, что он ведет к обстоятельствам, *нравственно* непереносимым».

Разумеется, это ни в коей мере не означало приятия советской системы. Однако заставляло неустанно изучать перемены, происходящие в стране, в особенности наблюдать социально-экономическое положение. В листовке, озаглавленной «Какие из перемен в Польше обратимы?» редакция, обращаясь в 1955 г. к читателям на родине, подчеркивала:

«Проводя анкету о социально-экономических переменах в Польше, редакция „Культуры“ ставила целью задуматься над путями развития польской экономики и извлечь выводы на будущее. (...) Нельзя думать только об обретении свободы — нужно заранее планировать, как мы будем работать, когда станем не только хозяевами в своей стране, но и партнерами в созидании новой Европы».

Эта европейская перспектива лежит в основе стиля политического мышления, представляющего на страницах «Культуры». Причем это с самого начала образ «новой Европы» — такой видел ее Густав Герлинг-Грудзинский во вступлении к «Книгам польского народа и польского пилигримства» Мицкевича, первой книги, выпущенной «Институтом литературы», такой она является в манифесте Бохенского, такова же она и в переписке Гедройца с более и менее близкими сотрудниками. Эта «новая Европа» обязана — так, по крайней мере, видел это и Юлиуш Мерошевский — искать социально-экономический порядок, который не только обеспечит материальное благополучие, но и сверх того сохранит этику труда и достоинство трудящихся. Вышеназванное «нравственное чувство» выглядит здесь делом основополагающим. По той же причине вышеупомянутая анкета относительно перемен устройства в Польше не была лишена оснований: речь шла о том, принимает ли общество новый порядок и в какой степени; насколько этот порядок влияет на формирование общественного сознания данного устройства. Не без значения остается и то, что специальные номера журнала, посвященные положению в Польше, были в свою очередь попыткой помочь эмигрантскому обществу осознать направление и глубину преобразований, происшедших в стране после войны. Притом опять-таки речь не шла о приятии этих реалий, но о том, чтобы показать их и анализировать — в убеждении, что они накапливаются и после обретения Польшей независимости с этим нужно будет считаться, а значит, учитывать их при всех попытках конструирования программ на будущее.

В 70-80-е годы «Культура», по-прежнему оставаясь эмигрантским журналом (в том смысле, в каком этим словом определяют политическую эмиграцию), благодаря вышеописанным позициям становилась, можно сказать, журналом «отечественным». Это было видно по проявившемуся в 50-60-е интересе «Культуры» к польским «ревизионистам». Гедройц в «Автобиографии в четыре руки» так говорит об этом:

«В противоположность членам депутатской группы „Знак“ [представительство католической интеллигенции в Сейме ПНР] ревизионисты были только мыслителями. Они не оказывали влияния на учреждения, отправлявшие власть. Но нам они были значительно ближе, потому, пожалуй, что критически относились к польской действительности. (...) В нашей симпатии к ревизионистам свою долю имело также недоверие к польским правым и недоверие к Церкви. Я считал, что хотя левые в польском обществе всегда были в очевидном меньшинстве, так как это общество в своей массе правое или эндекоидное [эндеки — национал-демократия, перед войной значи-



тельное крыло эндеков исповедовало — и проводило в жизнь — крайне правые, полуфашистские взгляды, включая воинствующий антисемитизм], но тем не менее почти весь XIX век и даже в предвоенные годы всегда выигрывали левые».

Когда анализируешь первое десятилетие деятельности «Культуры», то ясно видишь, что свою программу она связывала с образом «новой Европы», способной преодолеть фашистско-нацистскую пропасть и в то же время противостоять коммунизму, и в то же время умеющей извлекать выводы из тех общественных чаяний, которые привели к тому, что оба великих тоталитаризма XX века приобрели поддержку масс, сведенных капитализмом, «экономически лучшим, чем любое другое устройство», на роль производителей, лишенных права решать свою судьбу. Этот образ, в известной степени утопический — и в утопичности его «Культура» отдавала себе отчет, — противопоставлялся отечественным реалиям, особенно пропаганде, обещавшей «освободить трудящихся».

В значении этой проблематики сильнее всего отдавал себе отчет Юлиуш Мерошевский, который в своей публицистике не боялся указывать слабости капитализма и в то же время неустанно подчеркивал значение профсоюзного движения, заторможенного при коммунизме, — движения, которое и на Западе подвергается окостенению и бюрократизации, но все-таки в сопоставлении с ролью «профсоюзов» в ПНР составляет существенную точку зрения в динамике социально-экономической мысли. В своей книге о «Культуре» Анджея Ст. Ковальчик пишет: «Мерошевский часто декларировал свои социалистические симпатии, но самой близкой ему идеологией оставался либерализм. Однако он видел в нем не политическую и экономическую программу, а культурную позицию, входящую в основу нашей цивилизации наряду с критическим мышлением и демократическим устройством». Это верно, но верно и то, что в вопросе решений (или скорее поисков решений) экономических вопросов социализм — в том понимании, которое связано с социалистическими традициями, идущими прежде всего от мысли Эдварда Абрамовского, — был точкой отсчета как для публицистики самого Мерошевского, так и для немалой группы авторов «Культуры», близких (Ежи Стемповский, а в 90-е годы — Кшиштоф Волицкий) или менее близких к редакции (Войцех Гелжинский). Одно не подлежит сомнению: поиски «путей выхода», позволяющих «наемным работникам» превратиться в сотворцов материального бытия, сознающих, что они сами решают свою судьбу, составляют один из важнейших, хотя не демонстративных мотивов публицистики «Культуры», связанных с формированием образа «новой Европы».

4.

Этот мотив естественным образом был поднят в 80-е годы, после того как возникло движение «Солидарности», — продолжавший звучать после введения военного положения, он был поставлен как один из ключевых вопросов после 1989 г., когда развивающиеся экономические преобразования, поспешный «возврат к капитализму», сделали актуальными вопросы, поднятые в «Демократическом манифесте». Важно также, что Гедройц в поисках постоянного комментатора этих преобразований выбрал не кого иного, а Кшиштофа Волицкого, несомненно верного этике социализма. И тут опять видна независимость «Культуры» от господствующих тенденций: «Культура» сосредотачивается скорее на критическом отношении к происходящему — будь то в дневнике Смеча (Томаша Яструна), записках Эвы Бербериуш или, наконец, в самих «Заметках редактора», — нежели на апологетике. С тем, однако, что это критическое отношение по весьма важным вопросам, как экономическим, так и политическим или культурным, имело строго определенные границы и если перерождалось в обычные жалобы или нападки на все, то практически всегда отвергалось. В этом же контексте следовало бы рассматривать и конфликт — один из самых драматических в истории «Культуры» — между Ежи Гедройцем и Густавом Герлингом-Грудзинским, в результате которого Гедройц разорвал их сотрудничество. Причиной послужили фрагменты «Ночного дневника», посвященные поездке писателя по Польше: сначала они печатались с редакционным комментарием, потом и вовсе были отвергнуты, — это можно воспринимать как превращение писателя-моралиста в писателя-морализатора (вероятно, весь конфликт нельзя свести только к этому, тем не менее это выглядит симптоматичным).

Указание на опасности, связанные с тем, что на реалии закрывают глаза или становятся на доктринерские позиции, особенно видно в публицистике, посвященной экономическим вопросам. Уже на пороге наступающих преобразований «Культура» напечатала два необычайно важных текста, посвященных этим вопросам, — статью Романа Зиманда (Леополит. Назвать по имени. 1990, №3) и программное высказывание Кароля Модзелевского (Солидарность труда. 1991, №4). В обоих текстах указаны опасности, которые несет с собой введение свободного рынка. Согласно линии поисков журнала кажется и дискуссионная статья Анджея Кшечуновича, посвященная «третьему пути» (Третий путь — его достоинства и недостатки. 1990, №5), тоже опубликованная на пороге системных преобразований. Однако, с другой стороны, наряду с проблемными текстами, где ведутся поиски общего восприятия происходящего, появляются и публикации, освещающие вопросы экономики и поли-



тики с точки зрения «рядового участника», — к ним, например, относятся «Размышления пожилой дамы» Камиллы Мондраль (1996, №9) или репортаж Гражины Помян о «повседневной жизни» в Тушине (Господа в столице чешут языком... 1992, №9). Соединение этих двух подходов: общего анализа или программного заявления, с одной стороны, а с другой — сосредоточенности на подробностях, — характерно как ответ на требование реализма, которое с самого начала определяло направление поисков «Культуры». Если говорить об этой заботе о подробностях, то здесь всегда большую роль играли дневниковые записи — в последний период это были «Искоса» Смеча и «Записки из пораженной зоны» Эвы Берберуш.

Эти тексты, как и тексты с анализом политики, были написаны уже не с позиций внешнего наблюдателя, но — приход в основном из Польши — представляли собой непосредственный отчет о ходе преобразований. Впрочем, такое положение вещей не было чем-то новым: еще в 70-е годы «Культура» стала, по определению самого Гедройца, «журналом отечественным в том смысле, что дела в Польше, всегда у нас присутствовавшие и выдвигавшиеся на первое место, теперь стали систематически восприниматься с перспективы участников и очевидцев, а не только наблюдателей из эмиграции». Таким образом, перелом 1989 г. не знаменовал никакого поворота в редакционной деятельности. Можно, не рискуя ошибиться, сказать, что «Культура» перестала быть чисто эмигрантским журналом уже в середине 80-х: выходя вне Польши (но в подполье переиздавали ее номера, а с 1989 г. польские переиздания стали правилом), она была сильнее связана с движением демократической оппозиции, чем с политическими организациями польского изгнания. По той же причине она так много места уделяла экономическим вопросам, с точки зрения общественной жизни основополагающим, а для большинства эмигрантских центров (может быть, за исключением лондонского журнала Анекс), органа по преимуществу эмиграции 1968-го) чисто абстрактным.

Эта укорененность в жизни страны как с самого начала, так и при обретении независимости приводила к тому, что Гедройц рассматривал свою миссию прежде всего как служение, не претендуя на роль поставщика готовых рецептов или приговоров. А в то же время дистанция, которую он сумел создать по отношению к институтам эмигрантской жизни, определяла его отношение к институтам независимого государства — отсюда неустанный критицизм при одновременном признании реалий, проявлением чего стал прием в Мезон-Лаффите президента Александра Квасневского как легально избранного политического лидера, хотя известно, что Гедройц оставался в оппозиции к политической программе, породившей Квасневского, — это он, кстати, и продемонстрировал, отказавшись принять из его рук орден Белого Орла. Благодаря таким жестам «Культура» сохраняла свою независимость, становилась — для многих неудобной — точкой отсчета в шедших политических спорах. Свои собственные взгляды относительно необходимых мер, имеющих целью упорядочить общественно-политическую жизнь, Гедройц изложил в «Послании», завершающем «Автобиографию в четыре руки»:

«Прежде всего мы должны изменить ментальность нации. Это требует укрепления исполнительной власти и контроля Сейма над ней. Это требует перестройки парламентской системы, так чтобы удалить из нее партийные и частные интересы. Требуется введения правления закона и непримиримой борьбы с коррупцией во всех ее видах и вариантах. Требуется свободной печати, в то же время пронесенной чувством ответственности. Требуется отделения Церкви от государства. Требуется соблюдения прав национальных меньшинств».

Самым главным в этой программе выглядит первое предложение. Критицизм Гедройца — и не только его, а большинства авторов «Культуры» — по поводу «ментальности нации» охватывал все, что мешает выполнять перечисленные далее в программе требования: неспособность мыслить исходя из приоритета государственных интересов, склонность к частным интересам, национализм, перерождающийся в шовинизм, и, наконец — это в особенности относится к свободной печати, — отсутствие ответственности за слово. В этом последнем Гедройц как раз хотел сделать «Культуру» образцом для подражания и, можно сказать, своего добился: можно указать ряд культурных и политических изданий, прежде всего ежемесячных и ежеквартальных журналов, для которых «Культура» стала таким образцом: начиная с [самиздатских] «Записки» и «Критики» в 70-е годы и до сегодняшней периодики. Вопрос только в том, что это журналы элитарные, выходящие малыми тиражами, «непереводимые» на язык всеми читаемых газет и глянцевого журналов. Среди изданий, стремящихся удовлетворять требованиям Гедройца, несомненно находится краковский «Тыгодник повсехный», единственная поныне выступающая над волнами современности верхушка того «треугольника независимой мысли», который возник сразу после войны.



Ежи Помяновский

ВЛАДЕНИЯ КОРОЛЯ БЕЗЗЕМЕЛЬНОГО



Весь минувший век прошел перед глазами Ежи Гедройца; этот человек был внимательным очевидцем всех войн и переворотов того столетия, а для оценки самых важных перемен в судьбе Польши обладал исключительно широким полем наблюдения. Более того, на ее судьбу он оказал значительное влияние. Однако на этот раз, в столетие со дня его рождения, речь пойдет не о былых заслугах и не о заботах, принадлежащих прошлому. Важнее представляются указания и дорожные знаки, которые оставил нам Ежи Гедройц для того, чтобы будущее Польши не оказалось в опасности — ни от иностранной силы, ни от собственного нашего малодушия, кичливости, слепоты.

А они проявляются в пренебрежении к выводам, которые не так уж трудно извлечь из 637 номеров парижской «Культуры».

Эти выводы складываются не в единственно верное учение, требующее топтать чужие взгляды, а в связную концепцию политических действий, которые позволят решить несколько избранных вопросов, жгучих для Польши. Государственным мужем, самым достойным такого звания, делала Гедройца способность отличать реальный вес вопроса от мнимого. основополагающим он считал не само лишь дело независимости Польши, но и гарантии достигнутой независимости. Сутью дела было для него успешно испол-

пользовать и прочно закрепить результаты удачной геополитической перемены, которую пережила Польша. Ее геополитическое положение долго оставалось фатальным. И вот советская наковальня развалилась, а немецкий молот перестал нависать над Польшей. На эту-то перемену Гедройц и рассчитывал — и дождался ее. Он мог ожидать, что поляки эту небывалую удачу оценят. Ни одна другая страна бывшего «соцлагеря» в дни освобождения не имела под рукой готовой концепции, как жить с соседями — не исключая и Россию — и уберечь себя от возврата под советский куколь. Гедройц такую концепцию нам дал и определил условия ее проведения в жизнь. И остаток его жизни отравило разочарование. Свидетельство тому — «Заметки редактора», печатавшиеся в «Культуре» с 1993 года.

*

«Культура» была декомпрессионной камерой для тех, кого в ПНР учили (как выражается Мрожек) дышать под водой. Читатели выныривали из жидкости, запроваженной принуждением, подозрительностью и скукой, и втягивали в легкие глоток воздуха, каким дышал мир свободного обмена — не только товаров, но и мнений. Они набирали дыхание в другой Польше, без цензуры и захолустной духоты. Да, тираж «Культуры» никогда не поднялся выше семи тысяч, и из одной только читавшей их интеллигенции складывались дивизии Гедройца. Видно, заблуждаются те, кто верит, что меньшинство не может быть право. Презрение к очкарикам — симптом политической катаракты.

Тезисы, выдвигавшиеся «Культурой», капля по капле точили даже бетон. Доказательство тому весь мир увидел на киевском Майдане морозной зимой 2004 года. Там собрались все: рядом с президентом Квасневским — Валенса и оба Качинских. Тысячи поляков с миллионом украинцев в один голос требовали только одного — той независимости, которую поляки уже завоевали, притом и не думая о завоеваниях за счет Украины. И не собираясь взаимно считаться кровавыми грехами. И не потому пошли они на эту площадь, что Сталин спервоначала отдал Львов Украине, а потом повелел полякам радоваться. К тому времени ни один советский солдат их не сторожил. Но поляков убедило письмо свящ. Маевского, который в ноябрьском номере «Культуры» за 1952 год писал о праве литовцев на Вильнюс, а украинцев — на Львов. Убедили их аргументы Мерошевского, Лободовского, Осадчука, Унгера, капля по капле просачивавшиеся со страниц «Культуры» во всеобщее сознание.



И тем не менее концепцию Гедройца не взяла на вооружение ни одна крупная организация, не включила в свою программу ни одна партия, а тем более не вошла она в основные принципы государственной доктрины.

Существует, правда, убеждение, что все правительства свободной Речи Посполитой в принципе придерживались идеи Гедройца, — более того: что она была общим знаменателем их внешней политики, — но этого убеждения не подтверждают ни факты, ни вышеупомянутые гневные «Заметки редактора» и его интервью, из них особенно памятное — Польскому ТВ, взятое Барбарой Чайковской.

Концепцию «Культуры» пытаются счесть глубокоуважаемым реликтом ялтинского прошлого, между тем как нетрудно показать, что осуществиться она могла и может лишь после ликвидации порядков и перегородок, установленных в Ялте.

Зато сам Гедройц стал предметом юбилейных торжеств, а нынешний год объявлен Годом Ежи Гедройца. Сочтем это доказательством бескорыстия органов культуры и национального наследия, ибо Гедройц был противником исторической политики и празднования славных поражений. Монографии и симпозиумы этого года касаются главным образом прошлого: великопленных достижений «Института литеарацкого» и его авторов. О роли этого интеллектуального наследия и его вдохновителя в спорах на текущие темы — мало что слышать. Депутаты Сейма с трибуны с редким единомыслием не ссылаются на Гедройца, и касается это не только правящей партии.

Разумеется, отдельные деятели верно оценивали значение генеральных указаний Гедройца. Признаем, что серьезней всего к ним относились Владислав Бартошевский и Александр Квасневский — его действия в Киеве в переломный момент, о котором шла речь выше, хорошо об этом свидетельствуют. Но эти действия не нашли прочной поддержки в экономических сферах, в законодательных органах, а тем более среди политических конкурентов. Не забудем, как польские правые депутаты Европарламента саботировали акцию в поддержку демократической Украины.

Уже тогда обнаружился опасный, прямо патологический характер — не столько внешней политики, сколько ее места в иерархии государственных задач и долга политиков решать эти задачи надлежащим образом. Надлежащим, то есть как задачи первоплановые. Такими их считал Гедройц, и обязательно надо вспомнить его взгляд на эти задачи и порядок — по крайней мере порядок самых важных из них. Потому что похоже, что никто у нас в этой области сегодня не имеет лучшей практической концепции.

*

Можно утверждать, что первая из этих задач — признать за внешней политикой приоритет перед внутренними потребностями и требованиями.

Даже крупные державы не позволяют себе менять генеральную линию своих союзов и зарубежных начинаний, если выборы выиграла оппозиция. Заботятся они об этом, разумеется, в своих интересах, но некоторую их часть, то, что называется *национальными интересами*, оставляют в руках государства и на торги никогда не выставляют. Что входит в эту часть, демократическая власть устанавливает в согласовании с оппозицией: если речь идет о *национальных интересах*, то их не может определять только партия, за которую голосовала всего лишь часть народа. Так она поступает, потому что и для нее это окупается, но бывает, что и теряет власть — однако тоже по принципу, который сформулировал Уильям Гладстон, четырежды премьер-министр Великобритании: «Даже у дикарей есть вожди, но только у цивилизованных народов есть вожди оппозиции».

А в Польше национальные интересы требуют неизбежного сотрудничества с другими государствами ради устройства большинства дел, касающихся граждан, начиная с экономики и безопасности страны и кончая путешествиями и отоплением помещений. Польша — последняя страна, которая могла бы позволить себе автаркию. Между тем нас осуждает на изоляцию среди соседей наша собственная пассивность и пренебрежение приоритетом обоих важных дел: внешней политики вообще, а также национальных интересов в их отношении к интересам групп, компаний, социальных слоев и, главное, партий.

Совершенно недавно г-н Леппер, тогда еще заместитель премьер-министра, отправился в Москву, чтобы с помощью друзей добиться возобновления импорта польских овощей и продуктов питания. Неизвестно, чем он собирался отблагодарить за услугу. В свете таких начинаний все, должно быть, с искренним облегчением отметили, что премьер-министр Ярослав Качинский начал свое правление, выдвинув международные дела на первый план в речи по случаю вступления на пост. Осталось, правда, ясно определить отношение правительства к упомянутым там субъектам международной жизни, особенно к ЕС и «Ближайшему» Востоку, но этот первый шаг заслуживает внимания.



*
Термин «энергетическая суверенность» появился десять лет назад на страницах «Культуры», прежде чем стать расхожим выражением. Мы тогда сигналили о подвохах того благословения, каким изображали «договор столетия», обеспечивающий Польшу поставки стратегического топлива по трубопроводу «Дружба» и проектировавшемуся в то время Ямальскому газопроводу. Обеспечение поставок (и связанных с ними доходов) казалось всем по очереди — правым и левым — польским правительствам таким важным, что они смели со стола заседаний всякую заботу о гарантиях против монополии поставщика. Не принимали во внимание ни интересов Украины, которую новая ямальская труба должна была принудить к повинности, ни примера, который доставила игра «Газпрома» с кранами и ценами. Заключенные договоры с самого начала заставляли Польшу платить за чрезмерное количество щедро поставляемого топлива — без права перепродажи излишков. Более того, «Газпром» платил (и платит) нам только 3% сумм, положенных за транзит газа через Польшу на запад. Польский вице-премьер в конце концов счел успехом то, что российский контрагент согласился поставлять 100% нашей потребности в импорте и получать плату лишь за это количество. Это действительно могло выглядеть актом милосердия, так как прожорливость на газ и нефть стала глобальным явлением, а российские источники оказались самыми доступными для половины земного шара. Однако Польшу этот акт ставил в зависимость от любых требований монополиста, включая политические. Скажем ясно: суверенности Польши недостает важнейшей сегодня опоры. Не думаю, чтобы кто-либо из наших русских читателей вздумал удивляться, что поляков это не радует, и счел бы нашу заботу о самостоятельности актом русофобии.

Спасением выглядит дифференциация источников поставок — пресловутая диверсификация. О ней мы слышим много лет, и на ней настаивал Гедройц. Правящая ныне партия во время предвыборной кампании обещала решить эту задачу в самую первую очередь. За девять прошедших месяцев ничего из планов еще не вышло наружу, хотя в правительстве руководят экономикой специалисты как раз из этой отрасли.

Знаюки вопроса считают, что решить его можно, по сути дела, только двумя способами: временно — ввоза танкерами конденсированный газ в наши северные порты, а с долгосрочным расчетом — построив нефтепровод от Бродов до Плоцка и Гданьска. Украинцы свой отрезок трубы — от Одессы до Бродов — давно положили. И на свалку дезинформации следует отправить широко распространенные слухи о том, что пропускная способность украинской трубы составляет всего два с половиной миллиона тонн нефти в год. На самом деле она равняется 24 млн. тонн. Только идти она должна через Кавказ из Казахстана.

Ни этого, ни пересмотра договоров с Россией мы не дождемся без помощи, солидарности и денег Евросоюза.

*
Ничто так не лежало у Гедройца на сердце, как Украина. И ничто так не ясно сегодня, как то, что ключ ко всей восточной политике лежит в Киеве. Самостоятельное существование на Востоке второго, притом дружественного нам политического субъекта — это не только условие мира и безопасности для Польши и (внимание!) для Евросоюза, не только гарантия альтернативного доступа к сырью. Оно необходимо и самой России, ибо отрезает ей возврат на старый, советский путь экспансии, который так недавно привел СССР на край пропасти. В серьезном московском журнале «Эксперт» (№496, 2006, 22 янв.) Павел Быков пишет: «Парадокс, но вопреки расхожей мудрости „Россия без Украины“ куда более европейская и куда более держава, чем „Россия с Украиной“».

И подумать только, что не так давно точно такое же утверждение, мимоходом высказанное президентом Квасневским, вызвало гневный отклик Глеба Павловского, которого многие считают самым влиятельным советником президента России. Это заставило нас (отнодь не стремящихся к спорам с российскими политиками) вступить в полемику, в которой мы защищали общие интересы Польши и России от неуместных советов.

Отсутствие Польши на украинской политической сцене в ходе продолжающегося кризиса — это, вероятно, самый печальный и яркий пример отсутствия упомянутого выше приоритета внешней политики. Этого не излечишь одной только дипломатией или даже встречами Леха Качинского с Виктором Ющенко: украинцам требуются доказательства, что их поворот лицом к Западу дает им что-то конкретное.

В достижимости польской руки — дела, годами ждущие практического решения. Вот хотя бы четыре из них:

— украинско-польский колледж в Люблине, по-прежнему бездомный и под угрозой расчленения;

— визы для украинцев на год вместо виз на несколько недель, да еще и дорогих;

— широкое открытие рынков для взаимных инвестиций; хорошим примером может служить покупка крупного металлургического комбината «Ченстохова» украинским концерном «Донбасс» — тем самым, который считается спонсором ныне правящей партии Януковича; таким образом «бело-голубые» убедились, что выгодные сделки можно заключать и на Западе — в частности, в Польше;

— возрождение Гуцульщины путем включения ее в польско-словацкий туристический бассейн на стыке трех границ. Может быть, Евросоюз не поспеет и тем самым протянет Украине руку помощи поверх границ.



*

Добавим, что это было последним пожеланием Гедройца — я услышал это от него, когда привез ему (в августе 2000-го) 11-й номер «Новой Польши», журнала, который не возник бы без его желания и постоянного натиска на пишущего эти слова. Сегодня он стал единственным местом диалога поляков с русскими; из двухсот с лишним авторов журнала русские составляют треть.

Диалог это нелегкий. Здесь не место рассматривать все древние истоки и парадоксальные возвращения трудностей там, где все материальные расхождения можно записать на листе бумаги формата А4.

Главное место в этом списке занимает вышеназванный вопрос зависимости Польши от российской монополии на поставку стратегического топлива и потенциальных политических следствий такого положения дел. Этот вопрос рано или поздно будет решен, так как Евросоюз начинает избавляться от иллюзии, будто единственная забота в этой области — обеспечить себе постоянные поставки, и неважно, какой ценой. Тревогу на весь ЕС подняла Италия, оказавшись — в результате слияния «Газпрома» с алжирским «Сонатрашем» (ее вторым и главным поставщиком) — в клещах монополии. А свободный рынок, заметим, монополии не выносит. На нем лучше быть лояльным партнером, нежели гегемоном: не теряешь ни копейки и не возбуждаешь у покупателей враждебности и погони за другими источниками; надеемся, что с этим согласятся и российские политики. К общим, солидарным переговорам с российским контрагентом, уже не с глазу на глаз и с пониманием интересов Польши («пациента первого контакта»), Европу склонит эта закономерность, а не какая-то там русофобия.

Кроме того, подчеркнем, что нельзя сваливать вину за нашу зависимость только на «Газпром». Русская поговорка гласит: «Дают — бери», — а польская: «Сам хотел — нечего обижаться». Без помощи тех, кто на этом нажился в Польше, «Газпром» не сохранил бы монополию, завоеванную еще во времена СЭВа.

*

Другие вопросы, касающиеся т.н. базиса, не должны нас тут занимать. Во-первых, они по сути дела зависят от доброй воли власть предержащих (как дело Пилавского пролива или импорта польских овощей). Во-вторых, между Россией и Польшей уже нет места (да и территории) территориальным спорам и решениям при помощи силы. Исполнилось предвидение Гедройца: независимость Украины убирает главную кость раздора, за которую Польша веками грызлась с царской Россией, пока не потерпела окончательное поражение. У Польши нет никаких поползновений на чужие земли и города — она дала тому доказательства. Что же касается России (что бы ни говорить о торговом пути к гегемонии), то такая тенденция вытесняет из государственной политики анахроническую и некупаемую традицию территориальной экспансии.

Юлиуш Мерошевский писал в «Культуре» еще в советские времена:

«Никто в здравом разуме не желает расчленения России. Русские имеют право на свою землю, как любой другой народ, и если бы коренным русским землям грозил захват, русские имели бы право ожидать помощи даже от нас».

*

Это если говорить о «базисе». С нашей старой знакомой, «надстройкой», дела обстоят хуже. Как в России, так и в Польше. Здесь продолжается напряженность, здесь ведутся споры, особенно по поводу истории. Здесь жируют шовинисты и подстрекатели с обеих сторон; одни запугивают Польшу российским нашествием, другие делают из Польши дежурного врага России. На этой почве вырастает ядовитое зелье — разлад. Не между правительствами — это дело переменчивое и в описываемых условиях катастрофой не грозит. Речь идет о разладе между поляками и русскими.

В чем Гедройц был убежден, так это в том, что важнее переговоров и договоров между «верхушками» отношения между нашими обществами, особенно когда граждане России перестали быть подданными, а почувствовали себя действительно гражданами. Особое внимание он обращал на интеллигенцию, считая, что она вырабатывает национальное общественное мнение.

Нам, читателям «Культуры», он внушал восхищение перед этим малочисленным слоем, искоренявшимся всеми тиранами. Русская интеллигенция создала книги, которые стали желанной духовной пищей во всем мире. Их авторы защищали славу и достоинство России лучше, чем ее маршалы. Их произведения, в ПНР недоступные и изымавшиеся при обысках, составили четверть всех публикаций «Института литерацкого».

Редактор «Культуры», без снисхождения относясь к польским комплексам, требовал от читателей умения отличать советскую отрывку в политике российских властей от обид и огорчений рядового российского гражданина, который после распада СССР почувствовал себя лишенным былого блеска державы. Авторы «Культуры»



не давали воли мстительным чувствам. Они осуждали такие случаи нарушения прав российских граждан, как известное происшествие на варшавском вокзале осенью 1994 г., когда польская полиция, вместо того чтобы защищать потерпевших, наказала их. При всем преклонении перед Джозефом Конрадом как Густав Герлинг-Грудзинский, так и сам Гедройц считали промахом его «Тайного агента», где русские играют только зловещую роль. По просьбе Гедройца Земовит Федецкий нашел на варшавском православном кладбище забытую могилу Дмитрия Философова и поставил на ней крест. Гедройц дружил с этим эмигрантским мыслителем и в 30-е годы был завсегдаем его «Домика в Коломне».

Но не эмоции или воспоминания о минской и московской молодости влияли на состав принципов Гедройца, а трезвая, лишенная иллюзий оценка опыта сосуществования поляков и русских. Однако он не считал, что этот опыт исключает надежды на лучшее. Он не разделял мнение таких знаменитостей, как Ричард Пайпс, который считает, что история осудила Россию на вечное возвращение тирании; он с удовлетворением поместил нашу полемику с этим фаталистическим взглядом.

Гедройц и его люди держались твердого принципа: изучать и разоблачать преступления советского коммунизма, но не возлагать его вину на потомков, не применять проклятой доктрины коллективной ответственности. Поэтому редактор «Культуры» придавал такое значение вопросу о Катыни, и поэтому его так разочаровало огорчительное сопротивление властей уже свободной России попыткам окончательного разьяснения катынского дела. Да и вся польская общественность надеялась, что этот вопрос станет долгожданным критерием окончательного разрыва новой России со сталинскими традициями. Об этом по существу шла и идет речь. Только человек крайне недоброй воли может видеть в этом пожелании пример русофобии.

Отметим, что в России довольно широко распространены подозрения насчет одержимости поляков в целом русофобией. Тому, конечно, есть некоторые причины. Достаточно вспомнить неумные предложения бойкотировать московское празднование 60-летия победы над Гитлером. Да, хозяева тогда пренебрегли участием Польши не только в праздновании, но и в войне, начавшейся нападением на Польшу. Да, Красная армия не *освободила* поляков, ибо навязала им нежеланный режим. Но ведь она их *спасла!* Спасла от массового уничтожения, от истребления, от преобразования в массу рабов Третьего Рейха. Отрицать это значило бы оскорблять не власти России, но ее простых граждан, всех потомков и близких тех сотен тысяч парней, которые до сих пор лежат «в полях за Вислой сонной».

Но этого не произошло: русофобия в Польше — не эпидемия, и многие поляки все-таки Гедройца поняли. А писать об этом мы можем свободно, так как навязанный Польше режим канул не в Вислу, а в Лету.

Принимая во внимание совершённые и несовершённые грехи, мы, однако, можем констатировать, что польские высказывания по поводу спорных вопросов из этого списка с листа формата А4 не идут ни в какое сравнение с клеветническими измышлениями, направленными против Польши и появляющимися в последние годы в некоторых российских СМИ, представляющих крайне шовинистические течения. Написаны они стилем ложного доноса и стремятся добиться от властей запрета на диалог, ведущийся русской и польской общественностью на страницах нашего журнала.

Да стоит ли обращать внимание на эти выступления из парка юрского периода, бессмысленные в эпоху Интернета? Нас должно больше беспокоить распространение в России анахронических предрассудков насчет Польши среди людей доброй воли. Натиск информации, текущей из телевидения, радио, Интернета заставляет их застревать — когда речь идет о нашей стране — на расхожих стереотипах. Приглядимся в заключение только к одному из них, ибо речь идет о вопросе, который Гедройц считал ключевым.

Польскую активность на востоке, необходимую для нас и нужную соседям, большинство русских, включая и относящихся к нам дружелюбно, рассматривает как возврат польского захватничества. Стереотип Польши-жертвы — может, и невинной, но необходимой для величия Державы, — заменен (и неважно, чьими стараниями) архаическим стереотипом Речи Посполитой как захватнического соперника Москвы.

Тут мало возмущаться абсурдностью этого мифа и клеймить клеветников. Лучшее оружие убеждения — факты. Поэтому нам ничего не даст пассивность или *splendid isolation* от русских, особенно от русской интеллигенции. Она столько лет видела в поляках, их начинаниях, их помыслах, их реформах опору своих надежд. Недостойно будет, если теперь она увидит нас ретирующимися.

А значит, и дальше будем делать свое дело. Только надо, чтобы все, что мы делаем на востоке, особенно по отношению к Украине, продолжало опровергать набившую оскомину легенду о польской тяге к панскому господству. Осмелюсь верить, что таково было бы послание Ежи Гедройца, если бы он мог вернуться в свои владения.



Петр Мицнер

РЕДАКТОР

Первый раз в «Культуру», в дом в Мезон-Лафите, я попал летом 1983 года. От пригородной станции до него было не близко. Я шел, полный опасений: как примет меня Ежи Гедройц? Не будет ли выговаривать за связи моего отца с режимом? Да еще эта холодная дрожь, вызванная промыванием мозгов, телевизионными программами о «Культуре», из которых можно было сделать вывод, что недреманное око пээнэровской разведки регистрирует каждого поляка, переступающего этот порог. Я пытался догадаться, где они могут сидеть со своими камерами: в каком-то из домов напротив, в бистро?

— Чем могу быть полезен? — спросил Редактор.

Так все и началось. До конца 80-х я разговаривал с ним в Мезон-Лафите несколько раз. Переписываться мы начали в 1988-м. Первые письма от Гедройца были полуконспиративные: без Парижа перед текстом письма и с характерной завитушкой вместо подписи. Они касались дел [подпольного. — *Здесь и далее в квадратных скобках прим. пер.*] издательства «Кронг» [«Круг»], где я работал, и «Рочника подковянского» [«Ежегодника Подковы-Лесной»]. Редактор передал сумму денег, благодаря которой мы могли выпустить №2-3. Я его спрашивал, как нам указать его вклад, — в конце концов он согласился, чтобы мы поблагодарили «Ежи».

Я был очень горд, когда в письме от 12 мая 1989 г. он написал, что наш «Рочник» «весьма интересен».

Третьим октября того же года датировано следующее письмо — на этот раз уже на фирменной бумаге «Института литерацкого». Кроме оценки текстов, которые я предложил в «Культуру», письмо содержит типичные для Редактора стратегические указания:

«К сожалению, до сих пор никто не интересуется тем, что происходит в Советском Союзе. Жаль, что Анджей Дравич, специалист в этой области, занял должность, к которой он, пожалуй, не особенно подготовлен [Дравич был назначен директором Польского телевидения]. Думаю, что сейчас можно было бы устроить, чтобы главным редактором «Пшиязни» [«Дружбы»] стал какой-нибудь русский литератор или журналист из ведущих людей перестройки. Можно было бы ликвидировать «Край Рад» [«Страну Советов»], а главное, реорганизовать Общество польско-советской дружбы, которое могло бы сыграть известную роль, если бы кто-нибудь, кто на это годится, занялся этим вопросом. Ну, что делать, не слишком ясно, к кому обратиться с этими подсказками».

Я тогда, видимо, пытался объяснить Редактору, что действительность на этот раз движется быстрее, чем его мысль. А вопрос о «Пшиязни» вызвало мое предложение напечатать письма сталинских лет (в основном оскорбительные) в этот журнал. Гедройц, однако, счел, что не время разжигать такие настроения.

В следующие годы я писал ему и рассказывал по телефону о своих поездках в Россию, Белоруссию и на Украину. Его очень радовало, что в совместной ликвидации «белых пятен» начинают участвовать и тамошние историки. Однако предостерегал от гигантомании связанных с этим проектов, которые мы тогда разрабатывали в «Карте»:

«Действительно, сотрудничество с „Мемориалом“ приобретает размах. Но я очень боюсь, не сделан ли план работы чересчур на вырост. Может, из-за того, что я привык работать крайне кустарно, вся структура мне кажется слишком бюрократической. Не говоря уже о финансовой стороне, откуда взять ответственных людей на осуществление такой огромной программы» (письмо от 10 сент. 1992).

Осенью того же года Редактор с печалью писал: «...теперь у меня наступил издательский кризис». Это, разумеется, относилось только к изданию книг. С тех пор он обращал мое внимание на ценные, по его мнению, воспоминания. Конечно, делал он это тактично, направляя не авторов ко мне («Само собой разумеется, я не собираюсь валить Вам на голову эти записки...»), а меня к ним.

Безуспешно старался он заразить меня более широким взглядом на восточные дела — выходящим за рамки истории и искусства:



«С нарастающим ужасом смотрю на то, что вытворяют в Польше, особенно на отрезке внешней политики. Сплошные ляпсусы. Теперь борюсь за то, чтобы Польша пришла на помощь Литве, отправляя ей уголь, которого у нас излишки. Само собой разумеется, что им нужна нефть, но что делать, этого у нас нет. Немного лучше в Латвии и Эстонии, где пустили в ход силовую станцию на нефти, но здесь тоже видна наша бездарность. Эту силовую станцию за пять месяцев построила Финляндия. Наше предложение было рассчитано на несколько лет [строительства], и так во всем.

Здесь по случаю столетия ППС [Польской социалистической партии] 18-го числа проходит коллоквиум в филиале [Польской] Академии наук на [улице] Лористон, куда приезжает много людей, в т.ч. Бугай, Модзелевский, Малаховский. Буду говорить с ними, но выйдет ли что-то из этих разговоров — весьма сомневаюсь.

Пользуясь тем, что приезжала пани Хеннель из „Тыгодника повсехного“, я развел интригу, чтобы она выступила с проектом самообложения польских приходов за границей на восстановление польского костела в Москве. У польской Церкви достаточно денег, чтобы это сделать. Есть только вопрос определения, по крайней мере ориентировочного, сколько стоил бы такой ремонт. Может, Вы могли бы это сделать через свои контакты? Во всяком случае я позволил себе направить к Вам пани Хеннель по этому вопросу» (3 ноября 1992).

В январе следующего года я получил из Мезон-Лафита письмо, из которого следует, что Редактор не оставил своего замысла. Держал руку на пульсе. Знал, что пани Юзефа обратилась ко мне, а я — к полякам в Москве. Гедройц спрашивал только: «Как это выглядит?»

Зная, что я поддерживаю контакты с московскими и петербургскими поляками, он пробовал внушить мне, чтобы я заинтересовался и поляками в среднеазиатских республиках, ибо «на этом отрезке неслыханная путаница» (18 авг. 1994).

В октябре 1994 г. в «Кружке Подковы» прошла трехдневная конференция польских и русских историков «В кругу империи». Она открылась чтением письма, пришедшего факсом от Ежи Гедройца:

«По моему глубокому убеждению, от нормальных отношений между Польшей и Россией зависит не только будущее наших стран, но и будущее Европы. До сих пор мало кто отдает себе в этом отчет. Среди русских по-прежнему царит недоверие и подозрение, что мы боремся с Россией и стремимся ее ослабить. Поляки помнят огромные беды, которые испытали, и опасаются возрождения империализма, который снова может угрожать нашей независимости. Это еще обостряется отождествлением советской власти с Россией, притом что одновременно забывают, сколько несчастий и бед принес этот строй самой России. А к этому прибавляется взаимное невежество: мы почти ничего друг о друге не знаем.

Чтобы серьезно думать о нормализации и добрососедских отношениях, надо сначала объективно и беспристрастно анализировать историю этих отношений. Не только наших, но историю отношений империи со всеми народами, которые входили в ее состав. Ибо все это взаимосвязано. Только проделав эту огромную работу, мы можем приступить к построению нашего будущего, сотрудничества и дружбы.

Желаю съезду плодотворных заседаний».

Несколько писем этого и следующего года относятся к различным «восточным начинаниям», предпринимавшимся организациями-эфмеридами, которые предлагали сотрудничество Гедройцу, «Карте», «Кружку Подковы». «Буду весьма обязан, — писал Ежи Гедройц 27 марта 1995 г. об одном из таких «начинаний», — за мнение об этой организации. Ничего о ней не слышал. Она производит впечатление какого-то блефа».

В 1996 г. в «Кружке Подковы» мы издали по-белорусски книгу «Минская весна». Это была хроника деятельности оппозиции, антилукашенковских демонстраций и, наконец, репрессий, в ту весну очень жестоких, что я видел в Минске своими глазами. Там такая книга выйти не могла. Вместе с белорусами мы подготовили ее в Подкове. Затем весь тираж «отъехал» через Литву в Белоруссию. Эта операция меня очень возбуждала, я все время повторял слова Мицкевича о том, как еврей контрабандой перевозит в Литву тома его сочинений. На волне этого энтузиазма я предложил Ежи Гедройцу, который, как мы знаем, родился в Минске, написать предисловие. Вот что он мне ответил:



«Если речь идет о той работе, которую вы готовите о событиях этой весны в Минске, то я предпочел бы не писать вступления или даже нескольких слов, обращенных к белорусскому читателю. Прежде всего я довольно критически отношусь к белорусской оппозиции в Минске. То, что Позняк выбрал свободу в США, кажется мне ошибкой, потому что несмотря на очевидный риск, надо было оставаться на месте и воодушевлять движение за независимость. В настоящий момент я поглощен концепцией создания кафедры белорусской истории и культуры в Белостокском университете. Эта кафедра благодаря соответствующим публикациям стала центром свободной белорусской мысли, и мое намерение — стипендии и помощь репрессированным. Это нелегко, так как много бюрократических помех, а также антибелорусские настроения в самом университете. На надеюсь, что удастся преодолеть, так как этим заинтересовался Цимошевич [тогдашний министр иностранных дел, по происхождению белорус], который связан с этим регионом. Как я смог разобраться, в Польше немало лиц, изучающих белорусские проблемы, но они рассеяны по разным университетам, так что можно будет организовать хороший состав [кафедры] с тылами.

Белоруссия для меня необычайно важна: если Россия ее поглотит, это создаст нам колоссальную опасность. Думаю, однако, что надо делать это осторожно, чтобы не создавать еще одного ненужного очага конфликтов с Россией» (12 авг. 1996).

Хотя в 1994 г. Ежи Гедройц говорил об ошибочном отождествлении советского тоталитаризма с Россией как таковой, тем не менее три года спустя он писал мне: «Получил очень интересный документ — меморандум министерства внутренних дел от января 1864 г. об учреждении методов высылки подозрительных лиц „из Царства Польского и западного края” [курсивом — по-русски в тексте]. Документ крайне характерный, свидетельствующий, что методы не изменились на протяжении целого столетия».

Письма Гедройца 1998-1999 гг. касаются публикации конкретных текстов в «Культуре» либо содержат рекомендации материалов, которые он был не в состоянии напечатать и искал для них места в журналах, выходящих в Польше.

В 2000 г. я вошел в состав редакции «Новой Польши». В июне в Москве принял участие в вечере, посвященном памяти Михаила Геллера, выдающегося историка, двукратного эмигранта (из СССР, а потом из Польши после марта 1968-го). 20 июля получил письмо по электронной почте:

«Глубокоуважаемый и дорогой пан!

Очень жалею, что не получил заметки о вечере, связанном с Мишей Геллером, которую мне Помяновский от Вашего имени обещал. Это для меня очень важный вопрос, так как Геллер был не только ближайшим нашим сотрудником, но и большим другом. Будет ли возможно получить эту заметку в течение недели? Видно, Помяновский в том беличьем колесе, в котором он живет, должно быть, забыл Вам сказать об этом. Так что я очень Вас прошу написать, а если у Вас не найдется на это времени, то укажите, пожалуйста, кто мог бы это компетентно сделать».

Разумеется, получив такие мотивировки, я выполнил заданный урок. 31 июля Ежи Гедройц прислал мейл с благодарностью. Текст вошел в последний, еще им подготовленный номер «Культуры».

Он еще звонил в «Новую Польшу» — уже из больницы, хотя это обстоятельство скрывал.

Теперь, когда я читаю его письма, понимаю, почему о нем говорят «Редактор». Не только потому, что он выбрал себе такое занятие и полвека возглавлял журнал, но еще и потому, что действительно редактировал и участвующих в «Культуре» людей, хотя они не всегда этому поддавались. В известной степени я тоже чувствую, что меня Гедройц отредактировал.



Юлиуш
Мерошевский

МИФЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

К 100-летию со дня рождения

В одном из своих предыдущих очерков я утверждал, что в польских эмигрантских кругах царит некоммуникативность. Термины и определения, которые мы используем, становятся всё многозначнее. К каждой статье нужно добавлять отдельный комментарий. Если автор использует термин «демократия», в комментарии следовало бы детально пояснить, о каком именно типе демократии говорит автор; если он пишет о «ревизионизме», то должен уточнить, что он имеет в виду и т.д., и т.п.

Когда я просматриваю свои статьи за последние три года, то прихожу к выводу, что почти каждая из них объясняет содержание предыдущей. Споры полезны, когда они затрагивают суть вещей. Но мы, как правило, не спорим, а объясняем друг другу, что именно мы понимаем под какими-то терминами. Если для читателя термины «Россия» и «Советский Союз» означают одно и то же, то он не в состоянии понять большинства политических статей, печатающихся в «Культуре». Для другого читателя может быть неясен термин «социализм с человеческим лицом». Дело в том, что этот термин — просто определенный знак, сжато отображающий целое сложное понятие, вполне ясное только тех читателям, которые хорошо знакомы с программой революционной борьбы за свободу в Чехословакии, раздавленной советским сапогом.

В связи со статьей «Польская футурология» я получил множество писем. Среди них попадаются голоса, обвиняющие меня в... фашизме. Если социалист обвиняет меня в фашизме — совершенно очевидно, что, говоря о социализме, мы с моим читателем имеем в виду две совершенно различные вещи.

Как найти выход из этого положения?

Если мне не помешают состояние здоровья и загруженность работой, тот я хотел бы составить небольшой «Словарь политического языка журнала „Культура“». Словари подобного типа есть у американцев, англичан, французов и других народов. Разумеется, составление словаря политической терминологии *всей* польской эмиграции было бы невозможно. Между нами существуют огромные расхождения, и редакционная коллегия, созданная для составления такого словаря, не смогла бы прийти к единому мнению по тексту любой его статьи. Словарь, который хотел бы составить я, относился бы исключительно к «Культуре». Такого рода небольшая

брошюра была бы чрезвычайно полезна как нижеподписавшемуся, так и нашим читателям.

Приведем пример: каждый раз, когда в своей статье я должен использовать термин «социализм», меня одолевают сомнения. Написать ли «демократический социализм», «социализм западного типа» или, быть может, «социализм будущего»? Эти дополнительные определения фактически *усиливают* многозначность самого термина, поскольку социализм *в нашем понимании* по определению является демократическим. Поэтому «демократический социализм» — это все равно что «масло масляное». Как только возникнет словарь, о котором я говорил выше, я смогу использовать слово «социализм» безо всяких определений, потому что читатель — особенно тот, кто не слишком хорошо знаком с «Культурой», — заглянет в наш словарики в статью «Социализм» и сразу поймет, о чем идет речь.

Такой словарь нужен еще и потому, что многие наши концепции придают новое значение традиционным политическим терминам. Возьмем для примера термин «восточная политика».

Суть польской «восточной программы», неоднократно обсуждавшейся на страницах «Культуры», подробно изложена, в частности, в статье Ю.Мерошевского «Польская „Ostpolitik“» («Культура», 1973, №4/307). Ее основные положения таковы:

1. «У «народной» Польши нет и не может быть никакой «восточной программы».

2. «Восточная программа» не должна заглядывать слишком далеко в будущее и строить планы, которые могут стать предметом обсуждения только после восстановления независимости».

3. «Первым пунктом польской „восточной политики“ должно быть признание права на самоопределение и независимое государственное существование всех народов, угнетенных Советами. С польской точки зрения этот пункт в особенности касается украинцев, белорусов и литовцев. Мы должны заверить украинцев и литовцев (...) что мы не выдвигаем никаких требований о возврате нам Вильнюса и Львова».

4. «Задачей польской восточной политики должно стать возбуждение и усиление всех центробежных сил в Советском Союзе и сплочение единого фронта угнетаемых Советами народов — включая самих русских».



5. «Мы стремимся к дружественным отношениям с русским народом».

6. «На возражение, что восточная программа не будет нужна, пока существует советская империя, и что формулировать эту программу надо будет лишь тогда, когда Советский Союз окажется в состоянии распада, я отвечаю, что кризис в Советском Союзе — независимо от его формы — создаст для угнетенных народов определенные возможности, которые мы сможем либо использовать, либо упустить. Вероятность упустить эти создавшиеся возможности будет особенно велика, если у нас не будет согласованной программы».

Исторические рамки этой программы остаются прежними, но мы в своей формулировке этой программы старались избежать тех ошибок, которые привели к неудаче первой [довоенной] «польской восточной политики».

Я вполне осознаю, что для читателя из рядов новейшей эмиграции [1968 года] два предыдущих положения могут быть непонятны. Какая такая «восточная программа»? Чтобы объяснить, о чем мы говорим, пришлось бы написать огромную статью — несмотря на то что на эту тему мы уже писали в «Культуре» много и подробно. А в словарики, который я хотел бы составить, статья «Восточная программа» будет представлена сжато и ясно, что сделает излишним необходимость повторения того, что давно уже написано и много раз повторено.

«Культура» представляет собой некое новое явление в польской политической традиции. Мы являемся политическим центром, не будучи ни политической партией, ни конспиративным кружком. Мы не связаны ни уставом, ни резолюциями и благодаря этому можем обсуждать любую польскую политическую программу, не опасаясь, что нас... исключат из партии. Такой политической партии, в которую я бы вступил, еще не существует.

Как я уже когда-то подчеркивал по другому поводу, самым «дискуссионным» всегда выглядит реализм и объективизм. Гораздо легче завоевать широкую поддержку для программы, опирающейся на традицию и благие пожелания, — чем для взглядов, которые идут вразрез с традицией, но рука об руку с политическим реализмом. Однако и здесь мы достигли определенных успехов. В таком трудном и болезненном вопросе, как вопрос статуса Львова и Вильнюса, мы сумели убедить определенный процент общественности, что еще 15 лет назад было бы абсолютно невозможным.

Из недавних полученных нами писем на эту тему я хотел бы привести два особенно характерных отрывка.

Из письма Тадеуша Мацейчика, врача из штата Иллинойс (США):

«Я не согласен с г-ном Меровским, что большинство читателей испытывает к поднимаемой им тематике одну только аллергию. Мне кажется, что в его статьях

можно найти и кое-что другое. Поэтому нервные срывы, вызванные чтением его статей, имеют, как мне представляется, иное происхождение и иное значение.

Было время, когда, вероятно, и во мне все закипало, если я читал о планах отказа от Львова и Вильнюса, о попытках заставить меня думать, что мы должны помогать украинцам в восстановлении их независимости, да еще отдавая им в придачу наши исконные земли. Для меня Львов и Вильно — это были наши, польские города.

Во второй половине 40-х и в начале 50-х годов Испания организовала в Мадриде стипендии для студентов „из-за железного занавеса”. Под одной крышей оказались польская группа, украинская группа, был один литовец, несколько белорусов, были чехи, словаки и др. Вначале это было для меня шоком. Однако годы пребывания вместе всех этих групп позволило им сблизиться и понять друг друга. Сколько бессонных ночей я провел, размышляя о проблеме Львова и Вильнюса: что правильно? что неправильно? что реально? Созревание мыслей и суждений было болезненным. Мне кажется, что аллергия по отношению к статьям г-на Меровского есть не что иное, как самозащита, попытка избежать этой боли. У одних — это реакция страуса, прячущего голову в песок, у других — форма попытки «переварить» эту проблему (если они на это соглашаются), но приводящая к нервным срывам».

Автор второго письма — г-н Анджей Володкевич из Монреаля:

«...Я с ужасом читаю, как г-н Меровский широко жестом отдает Вильно литовцам, а Львов — украинцам... Я пишу это не как потомок семьи, несколько поколений которой жили в Минском крае, а как поляк, желающий не только независимости, но и целостности польских земель. Вместо того, чтобы подготавливать (пока что на страницах „Культуры”) пятый раздел Польши, стоило бы подумать о мудрой политике в отношении национальных меньшинств, полностью гарантирующей им все гражданские права и взаимное уважение».

Для г-на Володкевича украинцы и литовцы — это все еще «национальные меньшинства», а не самостоятельные нации. Литовцы и украинцы не заслужили в будущем ничего, кроме улучшенного варианта прежней польской политики по отношению к «национальным меньшинствам».

Читателю нелегко приспособиться ни к нашему методу, ни к нашему типу рассуждений. Мы всегда думаем о своей родине — но за исходный пункт всех наших концепций и анализов принимаем не Вторую Речь Посполитую, а современную Польшу. При благоприятных условиях Польша сможет когда-нибудь вырваться из-под сокрушительного советского ига.



Однако после 40 или 50 лет, которые, быть может, будут нас в этом случае отделять от краха Второй Речи Посполитой, уже ничего нельзя будет реставрировать. Возьмем для примера вопрос о социально-политическом устройстве. Когда исчезнет последнее поколение членов Польской социалистической партии (ППС) — в Польше уже не будет людей, которые были в прошлом связаны с этой партией. И кому в такой ситуации ее реставрировать?

Политика в значительной степени основывается на умении предвидеть будущее развитие событий. Однако правильный прогноз возможен только исходя из реалистического подхода к действительности. Образ Польши через 20 или 30 лет, теоретически экстраполированный из доступных сегодня материалов, так отличается от образа Второй Речи Посполитой, что польские эмигранты содрогаются при самой мысли о возможности принять его за результат вероятного развития сегодняшней Польши.

Несколько дней назад один из моих лондонских знакомых, человек весьма образованный и умный, позвонил мне и спросил: «Что вы там пишете о польском Дубчеке? Польского Дубчека варшавяне „вывезут на тачке“ в тот же день, как он появится!»

Слушая эти слова, я припомнил «светлые слова» одного из эмигрантских лондонских писателей: «Любой социализм — это рабство».

На самом деле вовсе не нужно быть ясновидящим, чтобы представить себе, с каким энтузиазмом поляки на родине восприняли бы отмену цензуры, привлечение к судебной ответственности кагэбэшников, освобождение из тюрем политзаключенных и т.п. В течение недели отечественная печать, радио и телевидение изменили бы свое лицо до неузнаваемости. За человека, который бы это сделал, выступили бы все без исключения. Социализм с человеческим лицом поддержало бы 70, а то и 80 процентов общества. И это совершенно понятно, потому что «дубчекизм» в сравнении с «гоммулким» показался бы жителям Польши раем на земле.

Мы с вами не живем под властью режима Гоммулки, и поэтому для нас «дубчекизм» не кажется привлекательным. Мы постоянно твердим о конституциях, о голосовании с пятью эпитетами (прямое, равное и т.д.), о выборах, о демократии в западном смысле слова и т.п. Большинство из нас покинуло родину 30 лет назад, и наши польские корни уходят в прошлое. Бывает, что я сам перед сном читаю «Пана Тадеуша» и знаю его почти наизусть. Но это единственная Польша, куда я могу без опаски возвращаться каждую ночь.

В значительной мере мы — «литературные» поляки. Нас «предала» наша собственная литература, которая никогда не учила нас действительности, но, наоборот, обрекала Польшу на романтическое величие. Рос-

сия, отброшенная за Днепр; краковский «колокол Сигизмунда», возвещающий народу свободу и могущество; «наши польские уланы // не привыкли отступать» — вот образ, к которому мы гораздо лучше подготовлены, чем к «дубчекизму».

Адам Чернявский в письме ко мне пишет:

«Честно говоря, меня поражает сходство позиции „Культуры“ с позицией официальных органов ПНР: оказывается, что каждый поляк по духу — соцреалист. „Искусство служит народу“ — это лозунг весьма опасный».

С этим я полностью согласен. Но Чернявский не видит корней этого явления.

В годы моей ранней юности люди говорили о восстании 1863 г. как о вчерашнем дне. Я лично знал многих повстанцев. Затем наступила I Мировая война — Легионы Пилсудского — польско-советская война 1920 г. — короткий период независимости, над которой угрозы нависали со всех сторон, — и II Мировая война. Мы живем «на военном положении» на протяжении многих поколений. Военное положение означает, разумеется, всеобщую мобилизацию — включая и мобилизацию литературы. «Станет нам крепостью каждый порог» — это написал не кадровый военный, а профессиональная писательница Мария Конопницкая.

Если бы я дождался появления нормальной Польши — существующей в условиях внутреннего мира и без внешних угроз, — я первый добивался бы полной демобилизации литературы. В прошлом эта мобилизация, продолжавшаяся десятки лет, привела к возникновению своего рода шизофрении. Параллельно существовали две Польши: одна из них, литературная, — величественная и порфиноносная, и другая — подлинная, тонущая в грязи и отсталости.

Расхождение между мной и Чернявским сводится к разнице поколений. Для молодежи это столетие 1863-1963 вовсе не представляет собой непрерывного целого, неразрывно связанного с собственным опытом. В результате молодежь не осознаёт, что тревоги никто не отменил, что военное положение по-прежнему продолжается.

В «Культуре» с самого начала мы стремились вернуться из этого заколдованного круга литературной Польши — потому что понимали, что польскую политику можно планировать только в реальной действительности, а не на бумаге. Эта реальная действительность — Народная Польша, коммунизм и геополитическая ситуация. Из этой-то глины нужно лепить образ будущей Польши — если этот образ должен быть правдоподобным и теоретически возможным. Эволюционизм, который исходил из предположения, что все, что произойдет в Польше, не исключая революции, будет вылеплено из глины, каковой является польская действительность, — в эмигрантских кругах был презрительно отброшен как «нигилистская» программа. Нас называли проповедниками мелкотравчатости.



Столкновение образа Польши, созданного на потребу литературе, с образом Польши, увиденным в его реальности и эволюции, было неизбежно.

За последние 30 лет Польша из проблемного государства, судьбы которого обсуждались во всех мировых столицах, превратилась в глухую, второразрядную провинцию. Это ощущение второразрядности и провинциальности в сопоставлении с образом Польши, унаследованным от литературной традиции, и приводит к утрате надежды и безразличию.

Из Польши происходит непрерывная утечка талантливых людей, но это ее интеллектуальное обнищание не сопровождается интеллектуальным обогащением эмиграции.

Должен признаться, что я все это представлял несколько иначе. Я полагал, что как чехословацкие, так и польские новые эмигранты — после пражской трагедии, после процесса «альпинистов» в Польше — примутся за какую-то конкретную политическую деятельность. У меня нет претензий к этим новым эмигрантам, которые сторонятся «Культуры». «Культура» не может быть неомарксистским изданием, потому что это рассматривалось бы как политическая диверсия. Но почему же эти новые эмигранты, которые были связаны с коммунистической партией, не издадут хотя бы своего ежеквартального журнала? Дубчека вызвали из Анкары в Прагу. Почему Дубчек не вышел из самолета в Париже и не попросил политического убежища? Вокруг него сосредоточились бы все чешские эмигранты, потому что Дубчек, несмотря на все свои ошибки, сегодня превратился в своего рода легенду. Легендой стал и Лешек Колаковский — причем во всех странах «Восточного блока», включая СССР. Этих двоих, так неизмеримо разных, все же объединяет нечто весьма существенное. Оба они символизируют определенную политическую позицию.

И Дубчек, и Колаковский — это ревизионисты, сторонники «социализма с человеческим лицом», и оба за свои убеждения были исключены из своих партий.

Но можно отыскать и более глубокие аналогии. Оба упомянутых выше деятеля символизируют советский успех в невероятном важном деле. Советским руководителям не удалось искоренить ревизионизм, не удалось задушить в людях тоску по интеллектуальной свободе. Их успех коренится в другом.

С самого момента захвата власти советские руководители объявили войну эмиграции. Эта война проходила через различные этапы. Сегодня советские органы, как правило, эмигрантов не убивают и не покидают — но Москва выработала иной способ борьбы с ними. Каждый эмигрант, просто по определению, — диверсант, шпион и предатель. Антиэмигрантская идеология была привита всем странам-сателлитам советского блока. Кампания против польской эмиграции продолжается непрерывно уже четверть века.

Кто-то может сказать, что люди уровня Колаковского и Дубчека слишком умны, чтобы поверить в абсурдные утверждения антиэмигрантской пропаганды. Но в этом случае речь идет не о привычной клевете, а вещах гораздо более принципиальных.

Успех советской партучебы состоит в том, что ревизионисты (нередко крупного масштаба) усвоили догму, что эмиграция — это тупик и дорога в никуда. Поэтому, находясь в эмиграции, не следует предпринимать никаких действий — потому что любое эмигрантское начинание обречено на провал.

Излишне добавлять, что если бы Ленин и его приспешники рассуждали подобным образом, то никакой Октябрьской революции не случилось. Можно привести целый перечень переворотов и революций, которые брали свое начало в эмиграции.

Дубчек не выбрал свободу, потому что в результате пройденной им партучебы в нем укоренилось убеждение, что в эмиграции ничего нельзя *сделать*. Я уверен, что Ленин в подобной ситуации, наоборот, остался бы в эмиграции.

С одной стороны, с эмиграцией борются так, как будто она является четвертой мировой державой, а с другой — тысячам коммунистов вбивают в голову, что эмиграция — это ничтожество в политическом отношении. В этом нет логики, но в тоталитарных системах логика — это товар, пользующийся наименьшим спросом и ниже всего ценящийся.

Я хотел бы закончить эти рассуждения притчей о котлетах и демократии, которую я посвящаю тем читателям, которые обвиняют меня в склонности к однопартийной системе. Так вот, разница между окрошкой и демократией состоит в том, что для приготовления котлет существуют замечательные и точные кулинарные рецепты, а для демократии рецептов нет.

Давайте сделаем еще одно усилие, дорогой читатель, и рассмотрим следующую ситуацию. В условиях благоприятной политической конъюнктуры в Польше появляется партийный руководитель, который выдвигает лозунг, что раз уж партия не сумела изменить народ, то партия сама должна измениться. Отменяется цензура, народу представляют программу радикальных социальных и экономических реформ, восстанавливается система правосудия, гарантирующая личную свободу. Если описанные выше преобразования будут осуществлены быстро, без колебаний, от всего сердца — то партийный руководитель, стоящий во главе лагеря реформ, завоевал бы себе горячую поддержку почти всего населения. Если бы этот руководитель был еще и грамотным политиком и тактиком, то он, не ожидая, пока волна энтузиазма спадет, а реакция поднимет голову, в момент наивысшего воодушевления объявил бы всеобщие свободные выборы. В такой ситуации лю-



ди толпами голосовали бы не за партию, а за человека, который сбросил с них кандалы коммунизма и дал им возможность обнаружить лучшие стороны социализма. Я думаю, что самые честные, но проведенные именно в такой момент выборы принесли бы сокрушительную победу партии польского реформатора. Повторяю — в таких ситуациях люди голосуют за «героя», а тем самым за партию, которой он руководит. Если бы у Дубчека была возможность провести свободные выборы в тот момент, когда «пражская весна» достигла своего зенита, он одержал бы полную победу, потому что за него голосовали бы почти все, а не только коммунисты и социалисты.

Как следует определить политическую систему, де-факто однопартийную, но возникшую в результате всеобщих и честно проведенных выборов?

Лично я поддержал бы польского реформатора, но воздержался бы от высказывания оценочных суждений, касающихся как его личности, так и польской демократии. Надо было бы выждать еще год-другой, чтобы убедиться, что реформатор не превратился в диктатора и держиморду.

Но предположим, что социализм с человеческим лицом сдал бы экзамен. Предположим, что социалистическая система функционировала бы не только эффективно, но и к вящему удовлетворению большинства населения. Тогда социалисты на каждых очередных выборах получали бы подавляющее большинство мест в парламенте, вытесняя другие партии практически на обочину политического существования. Это тоже была бы демократия? Разве каждый социалист не мечтает о том, чтобы его партия в свободных выбо-

рах завоевала большинство в парламенте и создала социалистическое правительство? Разве цель социализма не социалистическое общество, которое голосовало бы не за национал-демократов, а всегда и исключительно за социалистов?

По моему глубокому убеждению, демократической следует считать такую политическую систему, которая наиболее полно реализует волю общества, выраженную в свободных выборах. Все остальное несущественно.

Демократия, как и все на свете, — это вопрос степени. Я склонен предполагать, что русские никогда не будут пользоваться такой свободой, как англичане. Но если бы в будущем русские создали систему, дающую им 40% той свободы, которой пользуется британский подданный, — это был бы гигантский шаг вперед.

Восточноевропейские демократии — если они когда-нибудь возникнут, в чем я не сомневаюсь, — будут в значительной мере отличаться от демократий западного образца, и было бы удивительно, если бы дело обстояло иначе. Быть может, англосаксы не признают этих систем полноценными демократиями. Но, как я заметил выше, подробные рецепты существуют только для приготовления котлет, а для демократии рецептов нет. Копирование чужих образцов никуда не приводит. Политическая система должна вырасти в поте лица, в борьбе и трудностях из отечественной почвы.

KULTURA

1970, №9 (276)

**Люциан Снядовер
(Михал Соснович)**



ЕЖИ ГЕДРОЙЦ И «КОНТИНЕНТ»

**Передача польской секции Международного французского радио
к десятилетию журнала «Континент»
(22 июля 1984)**

Когда меньше двух недель назад, 10 июля, всемирно известный кинорежиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что намерен остаться на Западе, рядом с ним на пресс-конференции были Мстислав Ростропович, виолончелист и главный дирижер Нью-Йоркского филармонического оркестра, Юрий Любимов, бывший главный режиссер Театра на Таганке, и Владимир Максимов, писатель, основатель и главный редактор эмигрантского литературного журнала «Континент». Все эти творцы русской культуры выехали из Советского Союза в течение последнего десятилетия и вместе со многими другими оказавшимися в эмиграции видными представителями русской литературы и искусства — назовем хотя бы писателей Василия Аксенова, Иосифа Бродского, певицу Галину Вишневскую, скульптора Эрнста Неизвестного — принадлежат к тому, что в интеллектуальной среде Запада называют кругом «Континента».

В редколлегии журнала мы находим и польские имена: Ежи Гедройц, Густав Герлинг-Грудзинский, Юзеф Чапский. «Континент» отмечает свой юбилей: первый номер ежеквартального журнала вышел ровно десять лет назад — недавно появился №40. И на этот раз, как почти в каждом номере, в нем напечатаны произведения польских авторов в переводе на русский язык. Это последние стихи Виктора Ворошильского в переводе Натальи Горбаневской и статья Адама Михника о вышедшей в Варшаве книге того же Ворошильского «Кто убил Пушкина?». Свою статью Михник написал в Мокотовской тюрьме, а польский оригинал ее опубликован в подпольном журнале «Критика».

Вот как видит «Континент» с польской точки зрения **Ежи Гедройц**, редактор парижской «Культуры» и основатель издательства «Институт литераций»:

— Десятилетие «Континента» — праздник, который нас особо касается, может быть, потому, что мы с ним связаны с начала его возникновения и несколько членов редакции и авторов «Культуры» входят в состав редколлегии «Континента». То, что для нас важнее и интереснее всего, — что это первая группа русских, которая сумела найти силы на очень объективное отношение к польским делам — а это, особенно в последнее время, дело почти невозможное — и сумела произвести своего рода переворот в польско-русских отношениях, во всяком случае в определенных интеллектуальных кругах.

Журналу, кроме талантов редактора, выпало большое везенье, потому что затрагивать эти дела, столь раздражительные, в русских условиях очень трудно. Надо вспомнить хотя бы историю «Колокола» Герцена, который был чрезвычайно пропольским и пользовался огромным авторитетом и популярностью в России. Но как только «Колокол» занял позицию поддержки восстания 1863 года, тогда он для российской общественности «кончился» и уже никогда больше не смог вернуться к роли, которую играл прежде. Если говорить о Максимове, то такого рода остракизма не было, но я сказал бы, что круг людей, разделяющих его взгляды, весьма расширился. Может, это еще и влияние Солженицына, который здесь с самого начала занял весьма ясную позицию.

Кроме польского вопроса, такая лакмусовая бумажка, и весьма существенная, — отношение «Континента» к Украине. Украинский вопрос всегда был и остается крайне щекотливым для России, которая считала украинцев составной частью русского народа. Следует не забывать, что договор Петлюры с Пилсудским был крайне непопулярен. Те русские, что поддержали эту концепцию, в том числе Савинков и Философов, во мнении русской эмиграции стали людьми конченными. «Континент» первым поставил вопрос о независимости Украины — о том, чтобы допустить мысль о независимости Украины. И это тоже как-то не натолкнулось на особое сопротивление, скорее наоборот: я сказал бы, что эта концепция начинает обретать все больше сторонников.



Интересное наблюдение высказал в связи с юбилеем «Континента» известный французский специалист по русской литературе **Жорж Нива**. Французы, говорит он, как будто уже позабыли, что такое литературный журнал, ежемесячный или ежеквартальный, — журнал, которого ждут, в котором регулярно встречаются знакомые имена и реагируют на эти имена так же эмоционально, как на встречу с живыми людьми. «Континент» — как раз такой журнал. Французские читатели позабыли о литературно-общественной периодике, так как все главные споры эпохи перешли в другие СМИ, прежде всего на телевидение. Русские подобными возможностями не располагают, поэтому их эмигрантские журналы так живы, полны полемики и острых дискуссий.

Упомянутое мною вначале явление так называемого круга «Континента» — это нечто совершенно исключительное. Как получается, что «Континент» притягивает видных представителей культуры? На этот вопрос отвечает **Наталья Горбаневская**, заместитель главного редактора журнала, поэтесса, переводчица польской поэзии и прозы на русский язык:

— За десять лет своего существования «Континент» действительно стал не только журналом, но целым учреждением, хотя учреждение это состоит практически из двух человек, работающих в редакции: Максимов да я. Но главная в этом, на мой взгляд, заслуга очень сильной личности Владимира Максимова. Поляки, приходившие к нам в редакцию и разговаривавшие с Максимовым, всегда выходили увлеченные этим человеком. И еще естественней, что к нему льнут представители русской художественной интеллигенции на Западе. Это такой человек, который не занимается только и исключительно редакционными делами: он выслушает каждого — и какую-нибудь знаменитость, и никому неизвестного свежего беженца, у которого свои трудности. И каждому стремится помочь. Людей, в том числе, разумеется, пишущих, притягивает к «Континенту» скорее этот человеческий аспект. Думаю, что, не будь «Континента», скульптор Эрнст Неизвестный, наверно, не взялся бы написать книгу своих воспоминаний, фрагменты которой публиковались в нескольких номерах журнала. Неизвестный — старый друг Максимова, и Владимир Емельянович просто уговорил его писать — это его заслуга. Вообще ничего удивительного, что вокруг «Континента» собираются не только писатели, заинтересованные тем, чтобы напечататься, но вообще художники такого класса, как Мстислав Ростропович, Андрей Тарковский, Юрий Любимов.

Постскриптум 2006 года: *Интересно отметить, что Гедройц, когда я к нему пришел, сказал, что впервые в жизни дает радиointервью. Согласился он на это интервью из-за темы, которую считал очень важной.*



Наталья Горбаневская

УЛБ, СНГ, ЕС

Выступление на конференции «Концепция УЛБ: от идеи к осуществлению» (Минск, 8-10 июня 2006)

Тем, кто, как говорится, вскормлен парижской «Культурой» (а это не только поляки), сочетание букв УЛБ кажется азбучно простым, как «Мама мыла раму» из русского букваря или «*Ala ma kota*» — из польского.

УЛБ, то есть Украина — Литва — Белоруссия: их свобода, по концепции Гедройца—Мерошевского, обеспечит и свободу России и Польши, избавленных от соблазна покушаться на их территорию и в результате сталкиваться лбами. Стоит, может быть, вспомнить, что в момент появления эта «азбучная» концепция была революционной, для многих прямо неприемлемой, а из тех, кто потом на ней вскармливался, далеко не все доросли тогда до букваря.

Я могу уже не обсуждать эту концепцию, правота которой подтвердилась у нас на глазах. Позволю себе обратиться к сугубо личным воспоминаниям о временах накануне распада Советского Союза.

Если считать, что большинство русских так или иначе чаяло краха коммунизма, то крах Советского Союза (ну, может быть, за исключением отделения прибалтийских республик) в чаяния этого большинства не входил — был по меньшей мере непредставим, а для иных и нестерпим. Я принадлежала к явному меньшинству: для меня распад СССР был давним чаянием, не менее важным, чем падение коммунизма как такового. Он означал в моих глазах прежде всего освобождение России: вместе с освобождением от коммунизма — избавление от груза империи, груза настолько — даже материально — тяжелого для «имперской нации», что, например, колхозники из Великолукской области ходили за продуктами в соседнюю Белорусскую ССР: в советской России 80-х годов вместо дотаций на продукты, дававшихся в других союзных республиках, вводились карточки на те же продукты, стыдливо называвшиеся талонами (например по 300 или даже 200 граммов масла в месяц). Впрочем, талоны давали в больших городах, а сельское население изворачивалось как могло. И не так уж много русских областей граничили с другой республикой.

На мой взгляд, России вдобавок важно было избавиться и от психологического груза империи, то есть от имперского сознания. (Станным образом, уже в нашем веке это сознание — не без подсказок сверху и с разных боков — увы, возрождается.)

Когда в многочисленных интервью подпольным изданиям, которые я давала, оказавшись в Польше в 1988 г., еще до падения «коммуны», поляки спрашивали меня: «А что же делать России?» — причем под Россией они явно разумели СССР, я неизменно отвечала: «Выйти из состава Советского Союза», — и тем самым не только давала ответ на вопрос, но еще и исправляла постановку вопроса. Проводила то различие между Россией и Советским Союзом, которое, можно сказать, было на знамени и «Культуры», и нашего «Континента», а к тому времени стало уже очевидным для широких кругов и в Польше, и у меня на родине.

В моем домашнем кругу, в центре которого кроме меня находились мой старший сын Ярослав и наш общий друг Анатолий Копейкин, мы задолго до Беловежского соглашения сочиняли планы — утопические, но увлекательные — возникновения новых государств на прежней территории. Или скорее возрождения старинных государств на существующей территории. Государств, как сейчас помню, было три: Новгородская республика, Великое княжество Литовское и Хазарский каганат. То есть на самом деле никакого УЛБ: Хазарский каганат шел от Заволжья по крайней мере до Киева (не зря же князь Владимир носил титул кагана), Новгородская республика (с Москвой и Петербургом, Вологодой и Архангельском) знаменовала благотворное ограничение русских земель, а Великое княжество Литовское включало, как ему и положено, какие-то польские земли, Белоруссию, Западную Украину (Одессу мы, подумав, отдали Израилю). Впрочем, светил еще один вариант: восстановление Австро-Венгрии, которой можно было бы отдать Галицию и даже Малопольшу. Хорошая была когда-то держава: с середины XIX века никого особо не угнетала, разным нациям в ней жилось привольно.



Нас, предававшихся этим приятным химерам на парижской улице Гей-Люссака, не связывали Хельсинкские соглашения, требовавшие неизменности границ в Европе. Скоро, впрочем, оказалось, что они никого не связывают. От выхода Литвы из состава СССР до недавнего отделения Черногории от «Сербии и Черногории» все страны, подписавшие некогда Заключительный акт Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, одно за другим признавали возникающие государства, разве что за исключением нескольких, так и сохранивших титул «самопровозглашенных», вроде Приднестровской республики и Нагорного Карабаха.

Конечно, самым важным шагом на этом пути стал роспуск СССР, то есть предоставление независимости всем оставшимся (уже без Прибалтики) советским республикам с объединением их в Содружество независимых государств, СНГ, еще одно буквенное сокращение, которому теоретически предстояло большое будущее. Увы, как мы видим сегодня, не оправдавшееся.

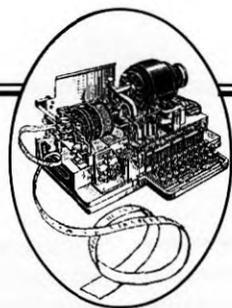
Наши друзья, приезжавшие еще из Советского Союза, но предчувствовавшие его конец (уже Россия и Украина объявили себя суверенными, хотя еще не решились произнести «независимыми», а это ведь синонимы), со страхом спрашивали: «А как же мы будем ездить в Крым?» — «А как мы ездим по всей Европе?» — отвечали мы. — Да еще с нашими беженскими бумагами. И никаких виз с нас не требуют...» Идеальное СНГ можно было себе вообразить как аналог Евросоюза тех времен: экономическое сотрудничество, отмена пограничных и таможенных барьеров и вдобавок содружество не только независимых, но и свободных и демократических государств. Но... «мертвый хватает живого», и советское прошлое аукнулось и в Средней Азии, и в Белоруссии, да и в других странах Содружества, ныне на наших глазах скукоживающегося, если не отмирающего, а отчасти превращающегося в Совражество.

Может, быть не стоит придавать такого значения любым буквенным сокращениям? Тут, согласно названию моих вольных размышлений, я подхожу к последнему — ЕС, Евросоюзу, членом которого в числе 12 стран не так давно стала и Польша. Есть чем гордиться и чему радоваться. Лишь бы, вперив взор в сияющие на небосклоне буквы ЕС в окружении 25 звезд, не забывать, условно говоря, об УЛБ. Условно, потому что Украину поляки не забывают, как показала «оранжевая революция» — и характерно, что посредниками в урегулировании конфликта выступил не только президент Польши, но и президент Литвы, нашего «Л», тоже тогда новоиспеченного члена ЕС. Не забывают и Белоруссию, о чем свидетельствует хотя бы нынешняя конференция, да и не только она. Об Украине и Белоруссии представители Польши напоминают в рамках различных европейских структур, подталкивая если не к действиям, то хотя бы к декларациям более инертные западные державы. Все это свидетельствует, что наследие Ежи Гедройца, наследие более чем полувековой истории «Культуры», усвоено. Усвоено, но развито ли?

К востоку от УЛБ лежит пространство, на котором оттенки свободы и несвободы чередуются иногда до угрожающих размеров. Диктатура Лукашенко — ничто перед диктатурой Туркменбаши, разгон демонстраций в Минске бледнеет перед Андижаном, а если пойти еще дальше на восток, то мы дойдем до коммунистического Китая с его лагерями и показательными смертными казнями и до страны-концлагеря, называемого Корейской Народно-демократической Республикой. И на том же пути — по-прежнему коммунистические Лаос и Вьетнам, а между тем в Польше беглецам из Вьетнама, людям, подвергавшимся на родине политическим преследованиям, отказывают в статусе политического беженца и грозят высылкой на эту самую родину. Это, правда, история прошлогодняя — хочу надеяться, что ныне она решилась или решится в благую сторону.

Можем ли мы чувствовать себя вполне свободными, когда другие — в том числе целые народы — сидят в тюрьме? Найдём ли мы в себе силы переадресовать им старый лозунг «За вашу и нашу свободу»? И сделать хотя бы малый шаг к реальному расширению их, а значит, и нашей свободы?

Восстановленный и существенно расширенный текст импровизированного (и не записанного) выступления.



Виктор Кулерский

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

• «С начала июня 1956 г. на фабриках и заводах Познани шли митинги, на которых выдвигались требования повышения зарплаты, снижения норм и улучшения условий труда. 28 июня (...) рабочие комбината им. Цегельского (в то время им. Сталина) вышли на улицу. К ним присоединились другие рабочие, служащие, прохожие (...) Стрелять начали из окон здания Управления безопасности. На расправу с городом было брошено 10 тыс. солдат, 400 танков и бронетранспортеров. Наиболее вероятное число жертв — 73 убитых и более 500 раненых». (*«Дзенник», 28 июня*)

• «[В своем послании участникам юбилейных торжеств] Папа Бенедикт XVI написал, что эта кровавая жертва способствовала «краху сталинской системы и полной независимости народа» (...) Президенты Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Германии, выступавшие у подножия крестов, увековечивших июнь 1956 г., подчеркивали незабываемость тех трагических событий. «Благодаря им мы знаем, что такое свобода и демократия и какую цену приходится платить за диктатуру и зависимость», — сказал президент Чехии Вацлав Клаус. О значении рабочего восстания говорил президент Лех Качинский: «Без Познани не было бы Гданьска 1970 года, а также Щецина, Эльблонга и Гдыни. В свою очередь без 1970 года не было бы событий 76-го [в Радоме и Урсусе; в том же году был создан Комитет защиты рабочих (КОР)] и «Солидарности»». (*«Жечпосполита», 29 июня*)

• «Сирены, завывшие вчера в Кельце ровно в 16.00, возвестили начало траурных торжеств по случаю 60-й годовщины [еврейского] погрома (...) Правительство представляли вице-премьер Людвик Дорн и министр иностранных дел Анна Фотыга (...) Министр Эва Йончик-Земецкая из канцелярии президента (...) зачитала обращение главы государства». (*«Дзенник», 5 июля*)

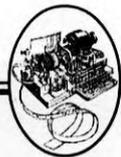
• Из обращения президента Леха Качинского к участникам траурных торжеств в 60-ю годовщину кельцкого погрома: «Сегодня мы вспоминаем трагические события, которые историки назвали кельцким погромом. 4 июля 1946 г. на улицах этого города истязали и убивали польских граждан еврейской национальности. Среди бела дня творились невиданные со времен войны зверства. Толь-

ко в Кельце погибли 42 гражданина еврейской национальности, а в окрестностях города жертвами нападений стали еще 30 человек (...) Для меня принципиальное значение имеет неоспоримый факт: были жертвы (...) Их бессмысленно прерванные жизни вызывают к нашей памяти и требуют справедливости, побуждая нас говорить правду и делать выводы из прошлого. Как президент Республики я хочу ясно сказать: то, что произошло в Кельце 60 лет назад, было преступлением. Это наш позор. Это великий стыд и трагедия для поляков и евреев, лишь немногие из которых уцелели после гитлеровской Катастрофы. Этому преступлению не может быть оправдания (...) Нельзя бояться правды, нельзя избегать испытания совести, ибо только такая позиция ведет к примирению. Только так мы можем почтить память трагических жертв истории. Только так мы можем не допустить повторения тех моментов, когда миром правили зло и ненависть, натравливая людей друг на друга». (*«Газета wyborча», 5 июля*)

• «62-я годовщина Варшавского восстания (...) В 17.00 в столице завывли сирены. Остановились автобусы, трамваи, замерли пешеходы (...) Несколько раньше над городом пролетел исторический самолет Б-17. Такие машины прилетали [из Италии] в сентябре 1944 г. с самыми большими партиями оружия для повстанцев (...) Появление американского самолета, именуемого «Летающей крепостью», стало одним из интереснейших пунктов программы (...) Б-17 разбрасывал листовки с призывом почтить память бойцов, взявшихся за оружие в час Ч». (*«Газета wyborча», 2 авг.*)

• «В Глинной под Щецином открылось кладбище немецких солдат, погибших в годы II Мировой войны (...) На кладбище покоятся около 10 тысяч солдат и офицеров. В общей сложности здесь может быть похоронено до 32 тысяч человек. Эксгумации все еще продолжаются (...) Это тринадцатое и последнее место вечного упокоения немецких солдат (...) По оценкам историков, в годы II Мировой войны на территории нынешней Польши погибли 500 тысяч немецких солдат и офицеров». (*«Жечпосполита», 17 июля*)

• Йошка Фишер, бывший министр иностранных дел и вице-канцлер Германии: «Каждый раз, когда я приезжаю в Варшаву, мне вспоминается про-



шное. Я не могу забыть о преступлениях гитлеровской Германии, о Катастрофе, об ужасающей резне поляков и об уничтожении этого прекрасного города в годы II Мировой войны. Эта память — одна из важнейших составляющих европейского дискурса (...) Часто интересы суверенных государств противоречат друг другу. Что же надо сделать, чтобы избежать очередного тотального конфликта? (...) Иногда заседания Совета Европы бывают невообразимо скучными. Упорство некоторых правительств, в том числе и моего — ведь каждая страна отстаивает свои интересы — может приводить в отчаяние (...) Я решил, что это сумасшедшая организация. И тогда я вспомнил, что точно из-за таких же конфликтов мой отец и дед пошли в свое время на войну». (*«Жечпосполита», 17-18 июня*)

• «Согласно последнему опросу «Евробарометра», большинство жителей ЕС (61%) высказываются за принятие нового договора, который назывался бы конституцией. В Польше показатель поддержки этой идеи даже несколько выше: он составляет 62% — столько же, сколько во Франции (...) По мнению 64% жителей Польши, вступление в Евросоюз пошло стране на пользу (...) За то, чтобы принять в ЕС новые государства, выступают целых 72% опрошенных поляков». (*«Жечпосполита», 7 июля*)

• Согласно опросу «Евробарометра», уровень доверия поляков к Европарламенту составляет 56%, к Европейской комиссии — 53, к Совету ЕС — 49, к польскому правительству — 22, к польскому парламенту — 13, к политическим партиям — 9%. (*«Газета wyborча», 21 июля*)

• Согласно опросу ЦИМО, «в примирение с немцами верят 80% поляков (...) За примирение с украинцами высказываются 77%. Два года назад эта цифра составляла 60% (...) Россия опасаются 59% опрошенных. Значительно реже поляки называют источником опасности Германию (23%) (...) В списке дружественных государств первое место занимают США (32%). За ними следуют Великобритания (17%), Германия (15%), Франция (11%) и Украина (6%)». (*«Газета wyborча», 13 июня*)

• «20 июня в Москве скончался многолетний посол России в Польше Юрий Кашлев. Вне всякого сомнения он был одной из самых ярких личностей среди аккредитованных в нашей стране дипломатов. Он был известен, в частности, своим чувством юмора и любовью к теннису. В Польше он работал с 1992 по 1996 г., в период, когда наши взаимоотношения становились все более напряженными». (*«Жечпосполита», 22 июня*)

• В начале сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибудет в Польшу по приглашению своей польской коллеги Анны Фотыги. Фотыга снискала симпатию россиян, принесла порусски соболезнования семьям четырех дипломатов, убитых иракскими террористами. Официальной целью московского визита Фотыги была конференция, посвященная переброске наркотиков из Афганистана. (*«Дзенник», 29 июня*)

• «Еще в прошлом году [россияне] оценивали Польшу нейтрально (5% симпатии и 4% антипатии). Сегодня дружественным государством нас считают лишь 4% россиян, а враждебным — 7%. Этого оказалось достаточно, чтобы занять десятое место среди врагов России — по крайней мере таковы результаты последнего опроса, проведенного независимым от властей центром изучения общественного мнения Левада-Центр». (*«Жечпосполита», 21 июня*)

• «Как сообщила вчера «Независимая газета», Белоруссия и Россия проводят совместные военные учения. В роли предполагаемого врага выступает либо Польша, либо Украина. По данным газеты, из сценария учений следует, что Варшава или Киев хотят аннексировать Брестскую область, а Минск пытается этому противодействовать». (*«Дзенник», 20 июня*)

• «Ежи Бар, назначенный послом Польши в Москве, вручил верительные грамоты Владимиру Путину. «Дружеское отношение России к Польше и ее гражданам остается неизменным», — подчеркнул российский президент». (*«Жечпосполита», 26 июля*)

• «Терминал по перевалке природного газа будет построен в Гданьске (...) О местоположении будущего газопорта, который должен сделать Польшу независимой от российских поставок, сообщил [премьер-министр] Ярослав Качинский (...) «Газовым складом» станут резервуары, которые будут вырыты в расположенных в тысяче километров под поверхностью земли залежах соли в Косакове в окрестностях Гдыни». (*«Газета wyborча», 9 авг.*)

• «300 белорусских студентов, исключенных из своих вузов за борьбу против режима Лукашенко, будут учиться в Польше (...) Они будут получать стипендию — 1240 злотых в месяц. Студенты должны представить документы об исключении из вуза, пребывании в тюрьме или рекомендацию от оппозиции. Белорусских студентов хотят принять более 120 вузов, объединенных в Конференцию ректоров польских высших учебных заведений». (*«Газета wyborча», 6 июля*)



• Бельгийский евродепутат Барт Стес после посещения польских центров приема беженцев: «Я был в четырех центрах в Варшаве и ее окрестностях. Меня интересовали условия жизни беженцев. Следует признать, что они очень тяжелы (...) Помимо скверных условий, [беженцы] жаловались главным образом на неудовлетворительное, по их мнению, медицинское обслуживание (...) Говорили они и о доступе к образованию (...) Судя по моим наблюдениям, польские власти не вполне понимают значение образования для этих людей. Это большая ошибка (...) В других странах ЕС статус беженца получают гораздо больше людей, подающих заявление». («Жечпосполита», 28 июня)

• Согласно обнародованным Главным статистическим управлением (ГСУ) данным о зарплатах, в мае средняя зарплата на предприятиях составила 2541 злотый. Это почти на 120 злотых (т.е. на 5,2%) больше, чем в мае прошлого года (...) При низкой инфляции (1%) это означает, что за последний год реальная зарплата на предприятиях выросла более чем на 4%. («Дзенник», 20 июня)

• «На 65 млн. злотых увеличились расходы польских семей в первом квартале 2006 года. Люди осаждают магазины с техникой, компьютерами, мебелью, красками и обоями, а также банки, дающие ипотечные кредиты. В прошлом году поляки потратили на покупки в общей сложности 600 млрд. злотых (т.е. в четыре раза больше, чем в рекордном 1995 году)». («Впрост», 2 июля)

• «ГСУ подсчитало, что для 44% польских семей есть рыбу, птицу или мясо каждый второй день — это роскошь. 32% детей из этих семей не имеют права [получать] деньги на дополнительное питание, так как доход [на семью] превышает 474 злотых. Таких детей пичкают хлебом. 94% матерей могут позволить себе покупать хлеб». («Политика», 29 июля)

• «По данным ГСУ, в июне инфляция снизилась до 0,8%. Уже несколько месяцев подряд наша инфляция — самая низкая в ЕС». («Дзенник», 15-16 июля)

• «Ускорение экономики улучшило ситуацию на рынке труда: с начала года уровень безработицы снизился с 18 до 16,5%. В апреле и мае число безработных уменьшилось на 239 тыс. человек (...) Однако в мае 2,583 млн. человек продолжали искать работу в центрах занятости. Впрочем, их шансы растут, так как предложений работы все больше: в прошлом месяце их поступило 114 тысяч — в два раза больше, чем год назад». («Жечпосполита», 24-25 июня)

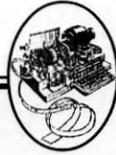
• «Польша облегчит процедуру приема иностранцев на сезонную работу. Для сбора урожая фруктов необходимо несколько десятков тысяч дополнительных рабочих рук. Такой драматической нехватки работников в Польше еще не было (...) На сезонных работах в сельском хозяйстве ежегодно занято 500 тыс. человек. В этом году на работу были приняты только 20 тысяч». («Жечпосполита», 8-9 июля)

• ««Если говорить об иммиграции только из одной страны за такое короткое время, то иммиграция из Польши — самая многочисленная за всю историю Великобритании», — сказал недавно в интервью «Таймс» профессор демографии Оксфордского университета Дэвид Колеман. С мая 2004 г. на работу в страны ЕС могло выехать до 2 млн. поляков, прежде всего молодых (...) По данным британского МВД, только в Великобритании работает почти четверть миллиона поляков». («Газета wyborcza», 12 июня)

• «По данным Польского национального банка (ПНБ), в прошлом году частные лица перевели в Польшу 22 млрд. злотых (...) Деньги, привозимые в течение года работающими за границей поляками, равны месячному доходу от всего польского экспорта. Вдобавок эта сумма постоянно растет (...) В результате эмиграции в Польше уменьшилось число безработных (приблизительно на 300 тысяч) и появилось около 30 тыс. рабочих мест». («Политика», 15 июля)

• «Одного года экономического роста на приличном уровне (около 5%) и возможности работы в ЕС оказалось достаточно, чтобы в Польше, стране с самой высокой в Евросоюзе безработицей (16,5%), стало не хватать рабочих рук (...) Кончилось время дешевой рабочей силы и низких ставок (...) Польская экономика начала набирать обороты. В первом квартале этого года рост ВВП достиг 5,2%. В мае фирмы произвели и продали на 19,1% больше товаров, чем год назад (...) На протяжении последнего года рост занятости составил 3,1%. В стране появилось почти 150 тыс. новых рабочих мест (...) За год было создано 13 тыс. новых предприятий». («Ньюсуик-Польша», 2 июля)

• «Быстрый рост польской экономики объясняется тем, что у нас хороший автопилот. Этот сервомеханизм нам обеспечили такие факторы, как восстановление частной собственности, переход к рыночной экономике, открытие рынка, конвертируемость валюты, а также вступление в ЕС, благодаря которому возможности сбыта польской продукции увеличились в 40 раз (...) Эти элементы, дополненные институциональной и социальной инфраструктурой (...) дали толчок экономике». (Михал Зелинский, «Впрост», 9 июля)



• «Уже около 12 млрд. злотых перетекло в прошлом году из Польши в страны с более низкими налогами. За четыре года эта сумма увеличилась в четыре раза (...) 60 тыс. польских предприятий (почти 6% от общего числа) хотят перенести свои офисы или часть производства в другие страны Евросоюза». («Впрост», 30 июля)

• «После беседы с президентом Лехом Качинским лидеры шахтерских профсоюзов отменили запланированные в Варшаве манифестации. Правительство согласилось выплатить шахтерам 130 млн. злотых из прошлогодней прибыли шахт». («Тыгодник повсехный», 25 июня)

• Министерство внутренних дел и администрации уволило директора ведомственной больницы в Лодзи Войцеха Шрайбера за то, что он (...) вопреки инструкциям из Варшавы, не наказал бастовавших врачей, а пришел с ними к соглашению». («Тыгодник повсехный», 25 июня)

• Проф. Витольд М. Орловский: «По уровню социальных расходов (23%) Польша ближе к Германии и Франции (27-29%), чем к Ирландии и США (15-16%). Согласно второму закону развития социального государства, эти расходы уже сегодня превышают возможности нашей экономики. Согласно первому закону, без решительной политики ограничения роста социальных расходов их уровень будет продолжать расти. Однако третий закон говорит о том, что для ограничения роста социальных расходов необходимы твердость и огромное чувство ответственности за будущее страны». («Впрост», 2 июля)

• «Европейский банк реконструкции и развития разработал для Польши новую стратегию. Банк рекомендует нам продолжать налоговые реформы, а также уменьшать фискальный дефицит и государственные расходы, чтобы сохранить макроэкономическое равновесие и войти в зону евро. Другими первоочередными задачами банк считает снижение уровня безработицы (самого высокого в ЕС) и устранение различий в уровне развития регионов, пять из которых входят в число самых бедных в Евросоюзе». («Жечпосполита», 13 июня)

• «Зита Гилёвская ушла в отставку. Должность министра финансов и вице-преьера обеспечивала ей ключевую роль в формировании нашей экономики. Вне всякого сомнения она была одним из самых компетентных представителей этого правительства и пользовалась уважением предпринимателей и экономистов. Обстоятельства ухода Гилёвской крайне неприятны для нее самой и для общественного мнения: представитель общественных интересов [лицо, проверяющее люстрацион-

ные декларации высокопоставленных государственных чиновников] обвинил ее в люстрационной лжи (...) Теперь министром финансов стал человек [Павел Войцеховский, советник премьера по экономическим вопросам], чья квалификация в области управления государственными финансами практически неизвестна, вдобавок не имеющих политической базы и опыта». (Гжегож Гауден, «Жечпосполита», 24-25 июня)

• «Станислав Клюза, ранее замминистра финансов, сменил Павла Войцеховского на посту министра. По мнению экономистов, это правильный выбор. Клюза знает финансовый рынок, а рынок знает его. Клюза — экономист, преподаватель Главной торговой школы, но он работал и в коммерческих фирмах. В последнее время он был главным экономистом Банка пищевой промышленности. Он не принадлежит к «Праву и справедливости», но (...) входит в число экспертов братьев Качинских». («Жечпосполита», 10 июля)

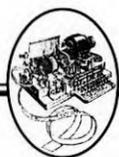
• «[Премьер-министр Казимеж] Марцинкевич подал в отставку. На его место высшие власти «Права и справедливости» (ПиС) выдвинули председателя этой партии, самого влиятельного польского политика и в то же время брата президента — Ярослава Качинского (...) Таким образом два высших поста в государстве займут братья-близнецы». («Дзенник», 8-9 июля)

• Отвечая на вопрос Института изучения общественного мнения и рынка «Пентор»: «Хотите ли вы, чтобы в будущем более значительную роль в политической жизни играл один из нижеперечисленных политиков?» — больше всего опрошенных (66%) упомянули премьер-министра Казимежа Марцинкевича. Следующие места заняли министр здравоохранения и социальной помощи Збигнев Релига (59%), министр юстиции Збигнев Зёбро (58%) и председатель оппозиционной «Гражданской платформы» (ГП) Дональд Туск (57%). Президент Лех Качинский занял 10-е место (40%), Анджей Леппер — 12-е (37%), Ярослав Качинский — 16-е (32%). («Впрост», 25 июня)

• «Правительство Ярослава Качинского получило вотум доверия: за него проголосовали 240 депутатов, против — 205». («Тыгодник повсехный», 30 июля)

• «Президент Лех Качинский привел к присяге нового премьер-министра Ярослава Качинского». («Жечпосполита», 15-16 июля)

• Веслав Хшановский: «Конечно, сегодня есть другая проблема: родственная связь премьера и президента. Последний раз такая ситуация возникла во времена основания древнего Рима». («Дзенник», 15-16 июля)



• «Доверие, которое [Ярослав] Качинский испытывает к президенту [Леху Качинскому], в сочетании с политическим превосходством дает ему огромные возможности влиять на политическую ситуацию (...) Обещанная «Правом и справедливостью» «моральная революция» представляет собой достаточно конкретный политический проект (...) Суть этого проекта заключается в создании сильного и отлаженного государственного аппарата, способного действовать в интересах общества, особенно слабых общественных групп. Этот проект, ясный в аксиологическом отношении, подвергается критике за прагматический анахронизм». (Рафал Матья, «Дзенник», 28 июня)

• «В воскресенье премьер-министр [Ярослав Качинский] отвечал на вопросы в прямом эфире телеканала «Трвам» и радио «Мария» (...) «Не было бы всего того, что происходит сейчас в Польше, не было бы этой попытки возродить Республику, если бы не отец директор [Тадеуш Рыдзык], не отцы [редемптористы], сестры-назаретанки и все, кто работает на этой необыкновенной радиостанции, подвергающейся стольким нападкам, но имеющей такие огромные заслуги перед Церковью и страной», — сказал, в частности, Качинский». («Дзенник», 24 авг.)

• Как сообщило израильское государственное радио, посол Израиля в Польше Давид Пелег принял решение бойкотировать министра национального образования Романа Гертыха. «Дело тут не в бойкоте и не в самом господине Гертыхе. Просто еще до того, как «Лига польских семей» вошла в правительство, мы решили воздерживаться от контактов с членами этой партии, поскольку идеология ЛПС содержит в себе антисемитские элементы», — сказал израильский посол (...) Израиль беспокоеен недавними заявлениями замминистра Мирослава Ожеховского, [ближайшего сотрудника министра] Войцеха Вежейского и [евродепутата, отца Романа] Мацея Гертыха, а также скандалом вокруг заместителя директора Польского телевидения Петра Фарфала, который в юности писал статьи в неонацистское издание «Фронт». («Жечпосполита», 10 июля)

• «Представители еврейской религиозной общины Варшавы и посол Израиля в Польше участвовали в Едвабне в траурных торжествах, посвященных 65-й годовщине убийства польскими соседями нескольких сот едвабненских евреев. Цветы к памятнику возложил вице-премьер Роман Гертых». («Жечпосполита», 11 июля)

• «Министерство национального образования подало в прокуратуру иск в отношении «Ученической инициативы», неформальной организации

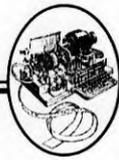
школьной молодежи, протестовавшей против назначения министром образования Романа Гертыха». («Тыгодник повсехний», 9 июля)

• «Министр образования объявил, что ученики, не сдавшие в этом году один из выпускных экзаменов, но набравшие 30% пунктов, несмотря ни на что получают аттестаты зрелости (...) Учителя возмущены (...) Протестуют также представители вузов». («Дзенник», 17 июля)

• Проф. Иренеуш Бялецкий, директор Центра изучения научной политики и систем образования при Варшавском университете: «Около 60% этого выпуска сдало выпускные экзамены. На фоне других стран Евросоюза это не такой уж плохой результат (...) Не понимаю, почему в польской системе до сих пор сохранилось не применяющееся во многих европейских государствах разделение на тех, кто сдал, и тех, кто не сдал. Просто каждый должен получить свою оценку, зависящую от сравнения с ровесниками или объема знаний, которая в дальнейшем будет играть решающую роль при приеме в вуз (...) Дело ведь не в том, чтобы каждый был эрудитом и знал, кто такой Франц Кафка, а в том, чтобы человек умел разумно действовать, пользоваться информацией и создавать тот тип соглашения, который можно назвать современным общественным договором». («Политика», 22 июля)

• «В своем совместном заявлении [все бывшие министры иностранных дел независимой Польши] Владислав Бартошевский, Бронислав Геремек, Стефан Меллер, Анджей Олеховский, Дариуш Росати, Адам Даниэль Ротфельд, Кшиштоф Скубишевский и Влодзимеж Цимошевич подвергли критике решение [президента Леха Качинского] отменить встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Жаком Шираком [в рамках т.н. «Веймарского треугольника»]. Только Владиславу Бартошевскому (...) президент Качинский направил частное письмо. «С остальными господами министрами, несмотря на несомненные заслуги Бронислава Геремека в определенный период, президент Польши не обязан вести диалог», — заявил Качинский». («Жечпосполита», 8-9 июля)

• «Министр обороны Радослав Сикорский придумал простой, но действенный метод, как очистить армию от кадров, оставшихся в ней еще со времен ПНР. Метод заключается в обязательном экзамене по... физической подготовке (...) Марш-бросок на 3000 метров, бег на 1000 метров, бег зигзагом, подтягивание, наклоны, отжимание. Все это на время». (Иоанна Жебровская, «Дзенник», 20 июня)



• «Вице-премьер Анджей Леппер должен извиниться перед бывшим мазовецким воеводой за то, что назвал его «преступником и аферистом», а также передать 10 тыс. злотых дому престарелых в Недабыле. Приговор Щецинского апелляционного суда вступил в законную силу». (*«Газета wyborча»*, 24-25 июня)

• «Депутат Рената Бегер приговорена к двум годам лишения свободы условно за подделку подписей в поддержку кандидатов «Самообороны» в 2001 году. Государственная избирательная комиссия сочла, что приговор не может быть основанием для пересмотра результатов выборов, а партия Бегер не видит в сложившейся ситуации никаких проблем». (*«Тыгодник повшехний»*, 9 июля)

• «Недавнее выступление [депутата Пис] Янека Курского или давнее высказывание Анджея Леппера о политиках, которые якобы брали взятки (Леппер уже проиграл в суде) заставляют задуматься о пределах лжи, особенно лжи политиков в отношении других политиков». (*Мартин Круль, «Тыгодник повшехний»*, 25 июня)

• Рышард Легутко: «Да, в высказываниях многих важных политиков Пис появляются резкие слова, такие как «псевдоэлиты» или «люмпен-интеллигенция». Однако эти слова всегда употребляются в определенном контексте, указывающем на конкретную интеллигентскую группу». (*«Впрост»*, 2 июля)

• Павел Спевак: «Число интеллигентов в Польше не слишком велико. Если зачислить в интеллигенцию всех людей с высшим образованием, то получится всего 10-11% общества. Тех, кто ощущает себя интеллигентом в более узком смысле, еще меньше». (*«Впрост»*, 2 июля)

• Из заявления польского ПЕН-Клуба: «Радикализм, но прежде всего моральный цинизм политиков может привести к деградации общественного мнения, чему способствует атмосфера подозрений и инсинуаций, лжи и оскорблений (...) Шокируют случаи назначения на некоторые государственные должности людей, известных своими экстремистскими взглядами. Наше беспокойство вызывает и злоупотребление понятием патриотизма. Его содержанием становится не столько любовь к родине и общность, сколько национальная идея, основанная на принципе исключительности (...) Польский ПЕН-Клуб выражает глубочайшую обеспокоенность в связи с описанными выше явлениями». (*«Газета wyborча»*, 13 июля)

• «Многие постановления Конституционного суда не выполняются (...) Все больше решений суда ожидают исполнения (...) В настоящий момент

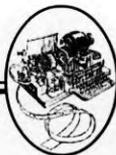
своей очереди дождаются уже 40 постановлений, а ведь еще полгода тому назад их было только 26». (*«Жечпосполита»*, 4 июля)

• «Сегодня положение выглядит так: корпус Гражданской службы — это более 120 тыс. работников и служащих. Его элиту составляют 3,6 тыс. назначенных чиновников, которые получают назначение, пройдя специальную процедуру или окончив Всепольскую школу государственной администрации. Гражданскую службу возглавляет ее начальник, но начальником всех чиновников остается премьер-министр. У него есть совещательный орган — Совет по делам Гражданской службы, в состав которого входят и политики, в том числе представители оппозиции. На высшие должности назначаются чиновники Гражданской службы, выбираемые на конкурсной основе. Высшее должностное лицо можно уволить только в предусмотренных законодательством ситуациях (...) После прихода к власти Пис оказалось, что все это нужно поставить с ног на голову». (*Янина Парадовская, «Политика»*, 24 июня)

• Согласно опросу ГФК «Полония», если бы выборы прошли во второй половине июля, Пис набрала бы 28% голосов (213 мест в Сейме), ГП — 24% (185 мест), «Самооборона» — 8% (60 мест). Два мандата по закону отведены немецкому меньшинству. Пятипроцентный избирательный барьер не смогли бы преодолеть Союз демократических левых сил (СДЛС, 4%), аграрная партия ПСЛ (3%) и ЛПС (2%). (*«Жечпосполита»*, 26 июля)

• «ЦИОМ попросил поляков оценить работу государственных учреждений. Больше всего негативных оценок получил Сейм — (...) 69% (...) О нем высказались положительно (...) только 16% опрошенных. По количеству положительных оценок верхняя палата [Сенат] опережает Сейм лишь на 3%. Зато мы довольны работой полиции. 65% поляков положительно оценивают стражей порядка. Противоположного мнения придерживаются 25%. Гораздо хуже оценивается работа судов — положительные оценки выставили им только 27% опрошенных». (*«Дзенник»*, 23 июня)

• «Недавно общество «Клен/Явор» представило «Индекс гражданского общества». В доступном в Интернете (www.badania.ngo.pl) отчете описываются сильные и слабые стороны гражданского общества в Польше. Относительно сильной его стороной можно назвать динамично развивающиеся неправительственные организации. К слабым сторонам можно отнести ограниченный масштаб их деятельности и слишком сла-



бую позицию в осуществлении общественного контроля над государством и рынком. Однако прежде всего бросается в глаза низкий уровень вовлеченности общества в деятельность организаций и в публичные дела вообще (участие в выборах, желание помогать другим). Достаточно сильный неправительственный сектор действует в довольно слабом гражданском обществе». (Якуб Выгнанский, Богумил Люфт, «Жечпосполита», 24 июля)

• «На пленарной сессии [Европарламента] в Страсбурге за резолюцию, осуждающую проявления расизма, гомофобии и нетерпимости в странах Европы, проголосовал 301 депутат, против — 161. В резолюции, в частности, говорится: «Европейский парламент всерьез обеспокоен общим ростом в Польше нетерпимости, вызванной расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и гомофобией, что частично объясняется деятельностью таких религиозных СМИ как радио «Мария», чьи антисемитские высказывания критикует и Ватикан». (Дзенник», 16 июня)

• ««Сейм Республики Польша выражает негодование в связи с ложными и оскорбительными для поляков обвинениями в росте нетерпимости, вызванной расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и гомофобией, содержащимися в резолюции Европейского парламента». Резолюцию такого содержания авторства Пис приняли в пятницу депутаты Сейма (...) Против был только СДЛС». (Жечпосполита», 24-25 июня)

• Из письма в редакцию: «Премьер уверял, что не встречал в Польше проявлений нетерпимости. Господин премьер, приглашаю вас в автобусы! На базе того, что я там за долгие годы услышала, можно было бы написать учебник ненависти (...) Агнешка Таборская». (Газета wyborча», 26 июня)

• «Казимеж Орлось отказался от членства в жюри литературной премии им. Юзефа Мацкевича в знак протеста против антисемитских высказываний другого члена жюри Станислава Михалкевича». (Тыгодник повшехний», 9 июля)

• «Варшавская полиция задержала 33-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на главного раввина Польши Михаэля Шудриха (...) Задержанный (...) признался в совершении нападения. Раввин тоже опознал его. Мужчине грозят 5 лет тюрьмы». (Жечпосполита», 29 июня)

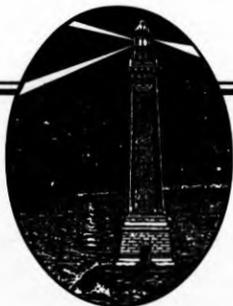
• «На страницах газеты «Нью-Йорк таймс» главный раввин Польши Михаэль Шудрих встал на защиту польских властей, обвиняемых в попустительстве антисемитизму». (Газета wyborча», 19 июня)

• «Фашистский сайт Blood&Honour с фотографиями и персональными данными людей, неугодных польским неонацистам, исчез из Интернета. ФБР убедило американского владельца сервера закрыть его (...) Вчера польская полиция задержала 31-летнего Матеуша Т. из Бельско-Бялы, одного из администраторов сайта (...) Это уже третий человек, задержанный по делу о сайте Blood&Honour (...) По данным полиции, на встречах, организуемых сайтом Blood&Honour, бывал 33-летний Кароль Г., подозреваемый в нападении на раввина Михаэля Шудриха». (Жечпосполита», 7 июля)

• «Союз еврейских религиозных общин Республики Польша, действующий с 1993 г. и продолжающий традиции Религиозного союза веры Моисеевой, включает в себя восемь общин и два филиала и насчитывает более двух тысяч членов, т.е. в два раза больше, чем это следует из переписи населения. Больше всего членов (400) насчитывает варшавская община, чуть меньше — лодзинская. Однако в других городах дело обстоит совершенно иначе: например, в Гданьске община состоит только из 75 человек (или 110, если считать несовершеннолетних членов их семей) (...) Главная проблема общин — преклонный возраст большинства членов, которым нужно обеспечивать социальную помощь, зачастую самую элементарную (...) К основной деятельности, как правило, прибавляется необходимость заботиться о синагогах и кладбищах. Только последних в Польше более 1200». (Агнешка Сабор, «Тыгодник повшехний», 18 июня)

• «Вчера кардинал Станислав Дзивиш разрешил свящ. Тадеушу Исаковичу-Залескому опубликовать список церковных агентов (...) В конце мая кардинал Дзивиш запретил о. Залескому обнародовать имена священников, сотрудничавших во времена ПНР с госбезопасностью (...) и приостановил его исследовательскую работу». (Дзенник», 23 июня)

• «В прошлом году польские скотоводы получили более полумиллиона злотых в виде компенсации за нападения хищников на стада. По данным комиссии, созданной правительством Малопольского воеводства, только в горных районах Малопольши волки убили 200 животных, в основном овец. «Часто компенсации становятся для скотоводов единственной надежной формой получения денег за неходовых животных», — утверждает комиссия по охране окружающей среды при сеймике Малопольского воеводства. Именно в Малопольше обнаружилось, что многие пастухи отнюдь не заинтересованы в том, чтобы охранять овец от волков». (Бартломей Курась, «Газета wyborча», 3 июля)



Леон Гомолицкий

Перевод
Натали Горбаневской

ВОСПОМИНАНИЯ О ДМИТРИИ ФИЛОСОВОВЕ



Дмитрий Философов

Когда в декабре 1931 г. я оказался в Варшаве, там выходила русская периодика — две газеты: орган национального меньшинства и эмигрантская ежедневная газета, на уровне литературных журналов; в ее подзаголовке значилось «литературно-общественная». Действительно, в ней печатались статьи на литературные темы, рецензии, новеллы, романы с продолжением и стихи. При редакции был кружок поэтов со школьным названием «Литературное содружество». И вот эта газета объявила конкурс на рассказ — современный, из жизни. Не знаю как, но, сражаясь с усталостью после физического труда на стройке, используя ночные часы (а их было не много — в пять утра я уже отправлялся на стройку), я написал и отнес в редакцию рассказ. Не знал, что он станет решающей, поворотной точкой в моей судьбе. Результат неожиданный — первая премия. Правда, газета как раз закрылась, но вместо нее в январе появилась новая, под названием «Молва», — с другим, смягченным направлением и другим составом редакции. И в первом номере был напечатан мой рассказ. О похожем на меня герое, который оказался в чужой ему Варшаве, прибыв из провинции, почти что бездомном и безработном, на каменном «необитаемом

острове» большого города. В жюри конкурса был Философов.

В своей русской автобиографической поэме я писал, парафразируя Пушкина: «Там Философов меня заметил и в гроб сходя благословил». Так действительно и было. Благодаря его поддержке «Молва» начала печатать мои театральные рецензии (гонорар я получал билетами на премьеры, где издалека созерцал Боя с Кшивицкой*, а однажды в дверях Вежинский нечаянно наступил мне на ногу), рецензии на кинофильмы, статьи на литературные темы и стихи. Когда и «Молва» закрылась и наступило долгое время без газеты, Философов почтил меня приглашением участвовать в двух его предприятиях, задуманных с размахом: выходявшем раз в две недели «Меч» и литературном салоне «Домик в Коломне». «Меч» должен был стать мостом между Варшавой и Парижем, где редакцию, предполагалось, возглавит Зинаида Гиппиус. Выглядел он как брошюра без обложки с моей линогравюрой на первой странице. К сожалению, его жизнь оказалась короткой. Париж повел себя высокомерно по отношению к нашей провинции и слабо откликнулся на приглашение, а для русского читателя в Польше уровень журнала оказался слишком элитарным. В первом номере Философов целиком напечатал мою поэму «Варшава» — реминисценции блоковского «Возмездия». После того как журнал закрылся, возникла ежедневная газета под тем же названием, в которой Философов участия не принимал. Эту газету заурядного вида и содержания часто путают с журналом Философова.

О «Домике в Коломне» написано куда больше. Что я могу добавить от себя? На каждую встречу Философов приглашал гостей, состав которых соответствовал теме. Это были исключительно поляки. Больше всего народу было на открытии, когда Слободник прочитал свой перевод «Домика в Коломне». Среди присутствовавших помню Тувима, Чеховича, брата и сестру Чапских, Блюта, Заводзинского. Потом были встречи, на которых читались доклады: Философов — о польской «великой эмиграции», Мария Чапская — о Людвике Снядецкой, Юзеф Чапский — о Панкевиче; позже Слободник читал свой перевод «Песни о купце Калашникове», еще позже я рассказывал об истоках акмеизма, а Вебер-Хирякова — о женской прозе на основе творчества Домбровской, Гоявичинской и Шемплинской, и, нако-

* Примечания ко всем именам см. в конце текста. — *Пер.*



нец, Болеслав Мицинский — о молодой польской поэзии. На этой последней встрече среди гостей были Мария Домбровская, Анеля Загурская, отец и сын Стемповские, профессор Татаркевич, сестра Мицинского Анеля и его тогдашняя невеста Халина Краузе. Встречи проходили за чаем, на столе стоял сконструированный мной из бристольской бумаги золотой самовар с чайником на золотом подносе. Моей работы были и приглашения с гравюрами на дереве. Роль хозяйки дома исполняла моя жена.

Впервые я не то что встретился с Философовым, а видел его издалека на первом собрании «Литературного содружества». Вроде бы собрание русских поэтов, но первых я там увидел Тувима и Вежинского. Они сидели прямо рядом с Философовым. Я глядел с моего дальнего конца длинного стола. Едва выбравшись из своего провинциального ничтожества, с толстыми мозолями на ладонях, свежеприобретенными на стройке, — и вот я беседую с бессмертными.

О Философове я много читал в воспоминаниях Андрея Белого о Блоке. Эти воспоминания, толстая книга, каждый раз печатались в новом варианте: меняя взгляды, автор менял и отношение к тем же самым людям: то страстно любил их, то страстно ненавидел. Я не знал, что Философову тогда было едва 60 лет, — на вид он выглядел стоящим на краю могилы.

Сутулый, с шаркающей походкой. Садясь, он опирался о стол согнутыми пальцами. Пальцы торчали наружу из митенок (экзема?). На лице — нескрываемая усталость. Розовая кожа с заглаженными морщинами, контрастирующая с выцветшей голубишной глаз. Портрет работы Виткация верно передавал властительный профиль с орлиным носом и выступающим подбородком. Я говорю «передавал», так как этот пастельный набросок сгорел в квартире Философова на Сенной. Остались снимки формата открытки. Один из них висел в квартире доктора Добровольской.

Но у меня есть другой портрет. Правда, не Философова, а человека, который под конец жизни стал похож на него как близнец, — Яна Лехоня. Я имею в виду рисунок Черманского, воспроизведенный на обложке книги «Памяти Яна Лехоня», вышедшей в 1958 г. в Лондоне, а недавно снова напечатанный в [варшавской] «Культуре» (1981, №28/943). Точно такой — слегка ссутулившийся, придавленный своим былым ростом, широкоплечестью, толщиной, отказом от пристойности и красоты юношеских лет. Но Налковская и в этом «пожилом господине» усмотрела красоту.

И в редакции, и дома (какие-то темные высокие комнаты) он всегда мерз. Сидел в круглой шапочке, закутавшись красным шарфом, связанным на спицах, кажется, какой-то из опекавших его дам старшего поколения семьи Чапских. Однажды он позвал в гости меня с женой и уговаривал нас завести ребенка, на что мы при нашей исключительной нищете и странствиях по чужим углам решиться не могли (ничего еще не зная о том, что нас ждет во время надвигающихся ужасов войны). Может быть, уговаривал он нас с мыслью о Лясках.

В высказываниях он был лаконичен, а в полемике резок. У него было, так сказать, пчелиное жало. Не осиное, злорадное: только бы ужалить, а пчелиное — жалящее целительным ядом, болезненным, но целительным. И за это свойство, за то, что он не переносил человеческой тупости и лжи, его тихо возненавидело русское захолустье тогдашней Варшавы. Между ним и довольно многочисленной русской колонией рос и обострялся антагонизм — обратно пропорционально крепнувшей и расширявшейся дружбе с кругами польской литературной элиты. Его интеллект, широта взглядов — там выглядели высокомерием и проявлением презрения, здесь подходили к общим требованиям.

Не назову точную дату но примерно с 1936 г. Философов все меньше проявлялся публично. Участились его отъезды в деревню. Причиной была болезнь. Говорили: *angina pectoris*. Перед самым началом войны я случайно встретил его в пустоватом трамвае на Маршалковской. Он тихо сидел. Берет, тот же красный шарф, митенки. Поздоровался со мной кивком головы. Молчал. И еще я был у него уже после сентября [1939-го], когда он лежал в квартире доктора Добровольской в Отвоцке. Он выслушал нашу сентябрьскую одиссею; я был страшно взволнован и полон впечатлений, на которые он отвечал



Знак поэтической серии,
издававшейся в кругу
близким Философову.
Рис. Леоп Гомолицкий



легким движением ладони: все это уже было, ко мне сюда приходят, рассказывают, каждый думает, что только с ним такое... И этот его угасший голос и мановение руки — как взгляд со страниц Екклесиаста.

Я часто навещал его, хотя это не было просто. В оккупацию Отвоцк оказался гораздо дальше от Варшавы. Поезд не раз останавливался в чистом поле — в предвидении облавы на станции. И уходить приходилось пешком, кружными дорогами. Состояние больного ухудшалось. На руке после инъекции образовался тяжкий нарыв. Говорил Философов с трудом. Листал советский альбом древнерусской архитектуры: многокупольные церкви. Перевернув последнюю страницу, он показывал рукой, что дальше уже ничего — пустота, что это вершины. Был там и снимок кладбищенского креста с крышкой. Он хотел, чтобы такой поставили на его могилу.

Моя последняя услуга: склеил из картона и повесил на кресте часовенку с копией иконы. В Псалтири, лежавшей возле его кровати, я нашел подчеркнутый стих из 89-го псалма, который здесь для собственного употребления перевожу [на польский]:

«Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим».

1981, найдено в архиве варшавского музея литературы Петром Мицнером

Блют Рафал Марцелий (†1939) — публицист, историк литературы, специалист по Мицкевичу и Дж. Конраду, сотрудник католического журнала «Verbum», выходившего в Лясках у свящ. Корниловича.

Бой-Желенский Тадеуш (1874-1941, убит немцами в числе большой группы львовских профессоров) — писатель, литературный и театральный критик, переводчик французской литературы.

Вебер-Хирьякова Е.С. (1895? — 1939, покончила с собой после капитуляции Варшавы) — в эмиграции с 1919 (Харбин, Париж), в Польше с 1929; журналистка и прозаик, переводчица, жена А.М.Хирьякова, председателя Союза русских писателей и журналистов в Польше, сотрудница газеты «За свободу!», постоянный автор и член редакционного комитета газеты «Молва», сотрудничала с польскими изданиями.

Вежинский Казимеж (1894-1969, умер в эмиграции) — поэт из группы «Скамандр», прозаик, эссеист. См. «НП», 2005, №6.

Гоявичинская Поля (Аполлония, 1896-1963) — прозаик.

Домбровская Мария (1889-1965) — прозаик.

Заводзинский Кароль Виктор (1890-1949) — литературный критик.

Загурская Анеля (1881-1943) — литературный критик, переводчик (в частности Дж. Конрада).

Кшивицкая Ирена (1904-1994) — прозаик, подруга Боя-Желенского, прославившаяся «скандальным поведением» пропагандистка освобождения женщин.

Лехонь Ян (1899-1956, умер в эмиграции) — поэт, публицист, критик.

Мицинский Болеслав (1911-1943) — литературный и театральный критик, эссеист, философ

Налковская Зофья (1884-1954) — прозаик.

Панкевич Юзеф (1866-1940) — художник, один из первых импрессионистов и символистов в польской живописи.

Слободник Владзимеж (1900-1991) — поэт, переводчик.

Снядецкая Людвика — юношеская любовь Юлиуша Словацкого; в 1938 г. Мария Чапская издала книгу о ней.

Стемповский Ежи — см. «НП», 2000, №7-8; 2001, №4; 2004, №6.

Стемповский Станислав (1870-1952) — отец Ежи Стемповского, писатель, общественный деятель, друг жизни Марии Домбровской.

Татаркевич Владислав (1886-1980) — философ и историк философии.

Тувим Юлиан (1894-1953) — поэт из группы «Скамандер», переводчик (в первую очередь русской поэзии), см. «НП», 2000, №6; 2004, №2.

Чапский Юзеф (1896-1993, умер в эмиграции) — художник, писатель, публицист, один из основателей парижской «Культуры», см. «НП», 2000, №3; 2002, №11; 2003, №11.

Чапская Мария (1894-1981) — писательница, умерла в эмиграции.

Чехович Юзеф (1903-1939) — поэт, см. в этом номере «НП».

Шемплинская-Соболевская Эльжбета (1910-1991) — прозаик, поэт.



Войцех Станиславский

СОГЛАСИЕ И РАЗДОРЫ

Русская эмиграция на землях Второй Речи Посполитой.

Статья вторая

В небольшом очерке нелегко как описать все обстоятельства, осложнявшие публичную деятельность русских эмигрантов во II Речи Посполитой, так и воздать справедливую дань всем их начинаниям, движениям и учреждениям. Даже если некоторые из них и носили характер символический или компенсирующий отсутствие иных возможностей.

Говоря об этих трудностях, следовало бы начать с бесспорного, общего для всех изгнанников фактора: крайне ограниченных возможностей реального воздействия на положение в России, где царила коммунистическая диктатура. Этот фактор был общим для всей эмиграции, как и скудость материальных средств, а в большинстве случаев и не первостатейный профессиональный и общественный статус беженцев (другое дело, что особенно ощутимо это было для эмигрантов в такой истощенной военными действиями 1914-1920 гг. стране, как Польша).

Нас, однако, прежде всего интересуют трудности, выпавшие на долю эмигрантов на польских землях. Об одной из них, важнейшей, шла речь в первой части моего очерка — о принципиальной несовместимости целей подавляющего большинства русских эмигрантов, жаждавших реставрации России в ее довоенных границах, и польских государственных интересов. Эта несовместимость вылилась в запрещение деятельности большей части эмигрантских политических объединений. По сравнению с этим второстепенное — хотя и чрезвычайно важное с психологической точки зрения — значение имела недоброжелательность заметной части польского общества и его политических верхов. Все это ставило пришельцев перед выбором: заниматься самоцензурой или эмигрировать куда-нибудь дальше.

Нельзя обойти вниманием еще одну причину организационного бессилия русской эмиграции. Причина эта, по моему мнению, составляет серьезный аргумент в пользу изучения истории русской эмиграции в Центральной и Восточной Европе. До I Мировой войны на большей части территорий государств-лимитрофов русские были меньшинством в демографическом смысле, но меньшинством привилегированным (*dominant minority*). Более того, русское меньшинство было в значительной мере изолировано от окружающего его общества — и по причине образа жизни (например, войска, расквартированные в казармах), и зачастую из-за взаимных предубеждений и бытовых барьеров. Эти два фактора: как общественные и материальные привилегии, так и механизмы, препятствующие культурной ассимиляции русского меньшинства, — способствовали тому, что до 1914 г. среди местной русской интеллигенции не возникало потребности создавать типичные для национальных меньшинств общественные организации, выполняющие функции защиты и благотворительности и укрепляющие чувство национальной принадлежности. Не без некоторого упрощения можно сказать, что русские, населявшие земли западнее коренной России, оказались «не готовы стать меньшинством».

Прямым следствием такого положения вещей был, в числе прочих, тот факт, что на территориях бывшей Российской империи, естественно, не существовало ее дипломатических представительств — а такие представительства были надежной опорой для эмигрантов на Западе: от Белграда до Парижа и Сан-Франциско. Отсутствие учреждений подобного рода было одной из главных причин низкого организационного и интеллектуального уровня русской эмигрантской среды в Центральной и Восточной Европе, на территориях т.н. государств-лимитрофов. В отличие от русских колоний в Западной Европе эта среда была лишена материальной поддержки посольств и, что важнее, помощи чиновников, знающих местный язык, обычаи, юридическую систему, обладающих многолетними традициями дружеского сотрудничества с местными политическими верхами. Лишены были, наконец, в краю изгнания того государственного института, который — что было не без значения для самочувствия недавних беженцев — был бы ощутимым свидетельством авторитета и мощи бывшего государства.



Объективная малопривлекательность Польши как места изгнания в сочетании с субъективными предубеждениями эмигрантов породила явление, которое, по аналогии с понятием ядерной физики, можно назвать «феноменом свинцового плаща».

Из массы беженцев, прорывавшихся континентальным путем на запад, на территории Польши оставались, как правило, те, у кого уже не было средств ехать дальше, больные, изнуренные, лишенные надежды, что «за границей» благодаря способностям или связям их ожидает лучшее будущее.

Трудно говорить и о существовании широкой политической элиты. Мнение А.Вельмина, утверждающего, что большинство вообще не интересовалось политическими вопросами, принадлежало чаще всего к крайним монархистам или от разочарования ходом революции отвергало всякую республиканско-демократическую ориентацию¹, могло бы послужить эпиграфом к теме, кратко выражающим правду об эмигрантском обществе. Фрагментарные данные, касающиеся тиражей эмигрантской прессы, участия эмиграции в различных торжествах или ее чисто политической активности не оставляют сомнений: число заинтересованных политическими вопросами, но не склонных к личному участию, тех, кого можно назвать «болельщиками», ограничивалось несколькими сотнями, число активных действующих лиц политической сцены — несколькими десятками. В остальной среде преобладали крайне консервативные убеждения. Некоторые авторы высказывали их публично, большинство же скорее выражало своим поведением. Термин «крайний монархизм», употребленный Вельминым, не вполне точен: эмигранты, кажется, были привязаны не столько к самой форме государственного строя, сколько к «старой жизни», тосковали скорее по «ancien monde» [старому миру], чем по «ancien régime» [старому режиму].

Тем больше заслуживают признания усилия тех нескольких десятков организаторов, благодаря которым на землях II Речи Посполитой, несмотря на отсутствие благоприятных условий, на всех парах шла оживленная и разнообразная общественная и даже по видимости «политическая» жизнь. Упомянуть всех ее участников в этой статье не представляется возможным: наряду с характерными для лет гражданской войны попытками создания военных структур и дипломатических представительств, в течение всего межвоенного двадцатилетия действовали многочисленные эмигрантские образовательные учреждения, артистические труппы², книгоиздательства³ и религиозные общества. Известно о нескольких более или менее эфемерных артистических группах. Главная роль в деле интеграции эмигрантской общественности и определения ее политической позиции принадлежала трем объединениям: «Таверне поэтов» (ТП), «Литературному содружеству» (ЛС) и Союзу русских писателей и журналистов в Польше (СРПиЖ)⁴.

И, наконец, пресса, которая имела особое, невероятно важное значение в организации и политической жизни эмигрантов. По сравнению с ограниченной чисто политической деятельностью пресса создавала альтернативный и более эффективный механизм распространения идей и представлений о жизни эмигрантской среды. Эмигрантская печать, однако, не была единственным источником инфор-

¹ Бахметьевский архив, Колумбийский университет (далее БА), фонд Вельмина. Это мнение часто встречается на страницах записок А.П.Вельмина. О том, что «левоэмигрантских» сил в Польше очень мало, сообщал и Борис Евринов Павлу Милюкову (БА, фонд Милюкова, письмо Евринова от 14 марта 1927).

² Нам известны два постоянных культурных центра: Русская драматическая студия под руководством Н.Гуляницкой, действовавшая в Варшаве в 30-х годах (Л.Флэйшман, Б.Равдин, Ю.Абызов. Русская печать в Риге — из истории газеты «Сегодня» 1930-х годов. Т.I-V. Стэнфорд, 1993-1997; т.III, с.126), а также действующая в Вильнюсе и окрестностях разрезная труппа «Русский сценический деятель» (Т.Зенкевич. Русская среда в Вильнюсе в 1918-1939 гг. и ее место в литературной жизни города // Польско-восточнославянские культурно-литературные отношения. Ольштын, WSP, Olsztyn, 1995. — На польск. яз.).

³ К крупнейшим в Варшаве издателям и книготорговцам принадлежали С.Кельнич (изд-во «Добро»), П.Сакович и П.Шведе. См. А.Клосовский. Dealers of Polish and Russian books in exile. Варшава, Национальная библиотека, 1992; В.Залевский, А.Голлербах. Распространение русской печати в мире. 1918-1939. СПб, 1998.

⁴ Не упоминаю здесь о столь заметном культурном явлении, каким был «Домик в Коломне» — созданный Д.В.Филосовым неформальный польско-российский клуб, в котором в 1934-1935 гг. состоялось несколько десятков заседаний. «Домик» в равной степени принадлежит истории русской эмиграции и истории польско-российских культурных контактов: в заседаниях участвовало лишь несколько представителей эмиграции, большинство присутствующих составляли поляки.



мации и представлений о текущей политике: эмигранты не раз обращались к советским, а также и к местным, польским средствам информации, довольно часто слушали, например, передачи советского радио из Москвы, а еще чаще — из Минска⁵. Но первостепенную роль, хотя бы ввиду ее доступности и цены, играла все же «своя», местная эмигрантская печать. Из всех эмигрантских — то есть тех, что прямо определяли себя пишущими для русской эмиграции, — изданий II Речи Посполитой выйти на общепольскую орбиту удалось лишь ежедневной газете «Свобода», начавшей выходить в 1920 г., а с ноября 1921 г. выходившей под заглавием «За свободу!» (1920-1932), созданной группой «савинковцев». Ежедневная газета «Молва» (апр. 1932 — янв. 1934), хотя и была в определенном смысле продолжением газеты «За свободу!», уже не считала себя исключительно «эмигрантской», а выходявший раз в две недели «Меч» (1934-1939) был довольно элитарен. Всем трем изданиям было свойственно постоянство — как в смысле состава редакции, так и своеобразного, царившего в этом кругу корпоративного духа.

Многие из этих начинаний привлекали эмигрантов как альтернатива чисто политической деятельности, сталкивавшейся с всевозможными препятствиями. Диспропорция между масштабами широкой, несмотря на отсутствие средств, «общественной» активности и активности политической лишней раз доказывает, насколько неприязненно воспринималась эта последняя. Как ни парадоксально, львиная доля идейной политической активности эмигрантов и связанных с ней дискуссий приходилась на формально аполитичные организации.

Размышляя о начинаниях и предпринятиях русской эмиграции во II Речи Посполитой, в узком смысле политических, стоит обратить внимание на две характерные особенности: ограниченность форм действия и своеобразную «внегосударственность» большей их части.

Причинами этой ограниченности были, в частности, вышеупомянутая дезорганизация эмиграции и недоброжелательность польских властей к русским начинаниям, противоречащим государственным интересам Польши.

В результате беженцы были лишены возможности хоть как-то влиять на ход событий: не считая единичных отчаянных террористических актов (за которыми, подчеркнем, никогда не стояло никаких конкретных организаций или политических кругов), единственной формой воздействия на внешний мир оказывалась агитация. Пропаганда адресовалась соотечественникам как за рубежом (по техническим причинам была она весьма ограниченной), так и в Польше. Нередко, однако, эта деятельность замещалась мимикрией, эмигрантским «существованием ради существования». Основным средством влияния на окружение оставалось для изгнанников печатное слово. Становятся понятными и огромное значение, которое эмигранты придавали печати, и бурные эмоции, связанные с борьбой за высокие должности в редакциях⁶ и влияние на них, доходящие вплоть до обвинений в шпионаже — в этой среде считавшегося самым тяжким из всех возможных обвинений⁷. Эмиграция старалась воздействовать и на оставшихся в СССР. Сохранилась масса свидетельств об отчаянной решимости изгнанников повлиять на соотечественников с помощью печатного слова — свидетельств, вместе с тем о разительном, с сегодняшней точки зрения, несоответствии целей и используемых средств: молодые солидаристы раскладывали листовки в поездах, едущих в СССР, выпускали воздушные шары, пускали по течению Припяти бутылки с прокламациями, напечатанными на непромокаемой бумаге⁸; с удовлетворением отмечали, что через пограничную речку на советский берег удалось перебросить пачку листовок, которой утром уже там не было⁹. Подобная деятельность была все же малой толикой эмигрантской актив-

⁵ Личное сообщение Сергея Крыжицкого от 10 марта 2001; БА, фонд Николая Егрова, Воспоминания. Об эмигрантской практике сопоставления сообщений советского радио с реальностью пишет в своих мемуарах и Николай Миловский (БА).

⁶ Об интенсивности битв за читателей, ведущейся эмигрантскими изданиями в Польше, помимо вышеописанных интриг и споров, свидетельствует переписка, приводимая в работе Флейшмана и др. (цит. соч., т. III-IV).

⁷ В издательских кругах хватало соперничества и другого толка, обнаруживающего решимость пойти на всё в интересах «своего издания»: в воспоминаниях Лехно мы находим гротескные описания того, как эмигранты через подставных лиц перекупили один из немногих сохранившихся в Варшаве набор русского шрифта, предназначенный для новой газеты; даже спустя несколько десятков лет рассказчик все еще живо ощущает особенное удовлетворение, что шрифт «не достался в руки людей из «За свободу!»». (БА, фонд Лехно, глава «Варшавское эхо»).

⁸ Б. Пянишиков. Новопоколенцы. Silver Spring, 1986.

⁹ БА, фонд РОВСа.



ности: «общественная жизнь» проходила в основном «по месту жительства», в кругу собратьев по изгнанию, где несоразмерно много места занимали споры, идейные разногласия и личные антипатии. Основной категорией политической активности эмигрантов было, однако, упрочение уже имеющихся идейных позиций, утверждение в них. Вышеупомянутый А.П.Вельмин, вспоминая деятельность варшавских сторонников «Крестьянской России», говорит, что группа собиралась в квартире А.Вакара и вела переписку.

Другая особенность политической жизни русской эмиграции этого периода — внегосударственный характер большей части ее начинаний. Впрочем, это не было только польской особенностью: русская эмиграция, особенно в межвоенный период, в значительной степени была феноменом трансграничным и негосударственным, можно сказать, общеевропейским.

Непрерывная миграция людей, текстов и идей между различными эмигрантскими центрами (или их «экспорт» на периферию эмиграции) была настолько интенсивной, что во многих случаях редакция, партия или конспиративная структура были связаны с государством только местонахождением руководящих центров этих организаций. Сохранение организационных контактов с «заграницей» было выгодно эмигрантам, жившим в Польше, с практической точки зрения: действовавшие там объединения и учреждения были важным источником финансирования эмигрантской работы в Польше. Авторитет этих заграничных организаций в глазах эмигрантов-«провинциалов» был так велик, что с его помощью — но почти всегда безрезультатно — старались оказать давление на польское правительство или «призвать к порядку» местных идейных оппонентов.

Львиная доля эмигрантских политических начинаний на землях II Речи Посполитой была частью общеевропейских движений: от «сельскохозяйственников» из кругов «Крестьянской России» с центром в Праге, Российской демократической группы (РДГ), созданной в Варшаве в начале 1926 г. и тесно связанной со структурами сторонников Павла Милюкова в Париже и эсеров Виктора Чернова, до «польских» «евразийцев» или Народно-трудового союза нового поколения (НТСНП, позднее НТС), тоже открывавших свои представительства в Польше. С заграничными центрами сообщалось большинство разрозненных и вместе с тем особенно многочисленных среди эмигрантов в Польше монархистов разного толка. Специфически локальный характер имела только выразительная группа «савинковцев» во главе с Дмитрием Философовым, неустанно искавшая соглашения с поляками, работавшая в этом направлении с 1920-го до середины 30-х годов.

Савинковцы под предводительством Философова представляют интерес еще и потому, что именно их активность, как ничья другая, вызвала массу идейных разногласий в эмигрантской среде в Польше. Парадокс эмигрантской жизни состоял в противоречии между стремлением к единству, «согласию», и разногласиями относительно целей и методов его достижения, что вело к острым конфликтам, частым и напряженным спорам. Они вспыхивали несмотря на противовес сильных «центростремительных сил» и институтов, заинтересованных в единстве или даже в превращении эмиграции в культурно-политический монолит, цементируемый Церковью, просветительскими и культурными учреждениями.

Раздоры, однако, были постоянной составляющей общинной и идейной жизни эмиграции. Спорили об идейных вопросах, картине прошлого, об отношении к Церкви, царю и полякам; обвиняли друг друга в реакционности, сотрудничестве с большевиками или получении денег от польских властей. Люди и редакции возбуждали судебные дела о диффамации, объявляли друг другу товарищеский или организационный бойкот, не брезговали иной раз клеветой и доносами. Свидетельства нескольких десятков публичных диспутов, полемических дискуссий, обнаруживших не один раскол в рядах эмигрантов во II Речи Посполитой, указывают на три основных вопроса, ставших камнем преткновения, своего рода *casus discordiae*: это, во-первых, отношение к действиям Савинкова; во-вторых, отношение к личности и публицистике Дмитрия Философова, которого подвергало остракизму все растущее число эмигрантов; и, наконец, в-третьих, споры «правых» с «левыми». Можно заметить и «нейдежные», но все же постоянные поводы раскола среди беженцев: разногласия старшего и младшего поколений, территориальный раздел (на «Варшаву» и «провинцию») и острая полемика воюющих за читателя изданий.



Эти «линии раскола» имеют много общего. Объединение савинковцев, хотя и не появилось первым на эмигрантской политической арене Польши, взяло инициативу в свои руки, по крайней мере в 1920-1921 гг., — во многом благодаря поддержке польской администрации. Вначале оно определяло себя как откровенно «левое», во внутриэмигрантских спорах адресовало свою критику в основном монархистам. Газета «За свободу!» оказалась самой прочной из всего созданного савинковцами и — во всяком случае до 1924 г. — придерживалась своей первоначальной политической линии. Савинковцев, газету «За свободу!» и левоцентристскую ориентацию объединяла личность Дмитрия Философова, единственного из руководителей савинковской группы, кому разрешено было остаться в Польше, ярого и даже демонстративного сторонника сотрудничества с поляками, врага черносотенных кругов, к тому же вызывавшего неустанные споры своим агрессивным писательским стилем, способом руководства газетой и независимым образом жизни. Нужно, тем не менее, оговориться, что трех главных поводов эмигрантских раздоров не стоит полностью отождествлять, даже если во многих случаях, особенно в 1920-1921 гг., бывали они сходны: Философов был интеллектуальным столпом савинковцев, он же формулировал основные тезисы в полемике с монархистами, так что подобное отождествление в восприятии идейных оппонентов было до некоторого момента вполне объяснимо.

Политическая программа Бориса Савинкова и группы его приверженцев, которой савинковцы руководствовались в Польше, была сформулирована весной и летом 1920 года. Наиболее полно она представлена в двух сборниках статей и речей Савинкова (Б.В.Савинков. Накануне новой революции. Варшава, «Rossica», 1921; он же: За Родину и Свободу. На пути к Третьей России. Сб. статей. Варшава, РПК, 1920), а также в переписке Савинкова с представителями польской власти, прежде всего с Юзефом Пилсудским (частично опубликована в ряде польских изданий 1990-х). В упрощенном виде эта программа часто появлялась на страницах газеты «За свободу!». Подробней программа савинковцев рассматривается в других главах моей работы — здесь же можно отметить, что самыми характерными и вместе с тем спорными ее элементами были: решительное отмежевание от концепций реставрации дореволюционного политического и экономического строя России, готовность признать правоту национальных притязаний большинства народов бывшей империи, а также готовность к тесному политическому и военному сотрудничеству со II Речью Посполитой, включая признание ее территориальных запросов, удовлетворенных позже Рижским договором.

Такая позиция была неприемлема для подавляющего большинства русских эмигрантов. Мало кто мог согласиться с крайне критическим отношением савинковцев к «старому режиму» (и в этом смысле расхождения с группой савинковцев можно рассматривать как вариант спора правых с левыми). И все же главным обвинением идейных противников было «полонофильство» Савинкова — в понимании эмигрантов непростительное с точки зрения российских государственных интересов (о чем речь впереди). Признание территориальных границ, установленных Рижским договором, как правило, приравнивалось к государственной измене¹⁰, в лучшем случае считалось следствием наивности и безответственности. Со временем среди эмиграции распространилось мнение о дружбе Савинкова с Пилсудским¹¹, выросшее из упорных слухов мифического толка.

Возникшие в тот период трения сохранились и после изгнания Савинкова и большинства его соратников из Польши в октябре 1921 г., а определение «савинковцы» существовало как политический ярлык до середины 1920-х. В последний раз савинковцы выступили как политическая группа в первые дни после ареста Бориса Савинкова, в августе-сентябре 1924 г., когда появились сведения о его переходе на советскую сторону. Они организовали кампанию в защиту доброго имени узника Советов. После того как слухи окончательно подтвердились, формула «савинковцы» перестала звучать в эмигрантской полемике. Можно, однако, заметить, что газета «За свободу!» по-прежнему придерживалась савинковской ориентации. Редакция, правда, несколько смягчила радикальную прежде критику «старого режи-

¹⁰ См. В.Чернов. Две недели в Польше // «Воля России», 1925, №1.

¹¹ Ал. Кондратьев. Письма Амфитеатровым // «Новый журнал» №181, 1992, письмо от 21 янв. 1931; БА, фонд РНК, письмо П.Н.Маслова от 16 авг. 1921; там же письмо анонима, адресованное РНК в Париже (1-я пол. 1922); Гуверовский исторический архив, фонд С.Л.Войцеховского, выдержка из письма Клементьева, сделанная Войцеховским (без даты, после 1945). Эти слухи отразились также в работах польских и советских авторов. См., например, Е.Енджеевич. На службе идее. Лондон, ОРiМ, 1972 (на польск. яз.); Вадим Белов. Белая печать. Ее идеология, роль, значение и деятельность. Пг., ГИЗ, 1922.



ма», но республиканская позиция была ей несомненно ближе; по-прежнему заметны и выразительны в программе газеты были пропольские взгляды ее авторов, по крайней мере отсутствие острой критики правительства и администрации II Речи Посполитой.

Всеобщая среди эмигрантов неприязнь к Дмитрию Философому не поддается исчерпывающему объяснению с помощью доступных нам источников. Можно только попытаться систематизировать предъявлявшиеся ему обвинения. Часть их высказана эзоповым языком, однако позволяет догадаться, что речь идет о предположительном сотрудничестве Философова с польскими государственными органами. Диапазон предъявляемых к нему претензий широк: начиная с принятия от поляков средств на издание «За свободу!» и до обвинений в сотрудничестве с ними в качестве информатора спецслужб.

Вопрос финансирования газеты «За свободу!» настолько неясен, что трудно здесь оговорить его во всех подробностях. Не подлежит сомнению, что в 1920-1921 гг. издание финансировал РЭК (Русский эвакуационный комитет), основной бюджет которого составляли средства польского военного министерства; вполне правдоподобно, что и позже редакция получала нерегулярные дотации от польского государства¹², большая часть средств поступала, тем не менее, от продажи газеты.

Эта проблема все же представляется мне второстепенной, важнее кажется вопрос, действительно ли одни только слухи о польской финансовой поддержке газеты были причиной столь сильного недоброжелательства, едва ли не остракизма? Это выглядит не вполне понятным: даже если обойти вниманием тот факт, что польская сторона финансировала и некоторые другие издания, например, «Вольнское слово» (эмигранты могли этого не знать), правительственная поддержка эмигрантов в странах Европы была обычным явлением — более того, беженцы часто сетовали, что польское правительство в этом смысле слишком уж сдержанно, о чем, обращаясь к Пилсудскому, писало Объединение русских эмигрантских студенческих организаций (ОРЭСО). По-видимому, политическое сотрудничество с Польшей считалось в кругах эмиграции недопустимым по причине несовместимости (*incompatibilitas*) русских и польских государственных интересов, а также из-за подписания Варшавой Рижского договора, который воспринимался как «раздел России». Даже если принять такое объяснение, бросается в глаза, что недоброжелательное отношение к Философому выражалось несравнимо ярче и эмоциональнее, чем к самому автору «полонофильской концепции» Савинкову.

Такому обострению конфликта могли, конечно, способствовать черты характера Дмитрия Философова. Его фельетоны обнаруживают чрезвычайно колкое перо, что вряд ли приходилось по вкусу оппонентам. Нельзя исключить элемента чисто материальной зависти. Хотя «За свободу!» и билась постоянно с финансовыми проблемами, в глазах безработных эмигрантов, да и по сравнению с другими закрывающимися изданиями, газета могла в 20-е годы почитаться источником достойных зависти доходов.

Мне все-таки не кажется, чтобы подобные обвинения — даже если бы они имели основание — полностью объясняли явление остракизма в русской колонии, где хватало и одаренных горячим полемическим темпераментом публицистов, и сотрудников польской разведки. Возможно, что в случае Философова мы сталкиваемся с известным социологам малых групп феноменом создания «символического врага». Динамика внутригрупповых отношений (особенно в среде, подверженной стрессу, не имеющей твердой почвы под ногами, что, безусловно, можно сказать об эмигрантах) требует «внутреннего врага», служащего громоотводом для общих недовольств и страхов.

Таким образом, сочетание политических обвинений с непримиримостью в конфликтах и другими особенностями характера Дмитрия Владимировича Философова¹³ делало его идеальным «козлом отпущения» для русской эмигрантской колонии. Это могло бы нам объяснить множество конфликтов с его участием и тот факт, что отношение к личности Философова в течение многих лет было яблоком раздора, фактором, делившим (и собиравшим) значительную часть эмиграции.

¹² По свидетельству Вельмина (правдивость которого, однако, остается под вопросом), Философов получал от польского правительства на издание газеты 200 долларов ежемесячно» (БА, фонд Вельмина, «К истории русской прессы в Польше»).

¹³ Характерно определение «барин», чрезвычайно часто используемое корреспондентами, когда речь заходит о Философове.



Анна Миркес-Радзивон

НЕ ЛИСТАЙ СТРАНИЦЫ! ВОСКРЕСИ!

В конце X, а может, в начале XI века, во времена князя Владимира Красное Солнышко, прибыл из Македонии на Русь Марк Христофор Философ, «муж честен».

Имя «Философ», по всей вероятности, произошло от прозвища, полученного за «разносторонние и глубокие познания» (см. статью Л.Я. Костючук «Некоторые особенности русских фамилий» в рецензируемом сборнике). От него и пошел старинный русский дворянский род Философовых, людей незаурядных и заметных в истории России. Потомки Марка Философа получили земли в Псковской, Смоленской, Калужской, Костромской и других губерниях. А в Новоржевском уезде Псковской губернии Философовым принадлежали имения Богдановское и Усадище — ныне это Бежаницкий район Псковской области.

Память о Философовых, особенно о хозяйке Богдановского Анне Павловне Философовой (1837-1912), прославившейся здесь благотворительностью, чтят в Бежаницах. Восстанавливают усадьбу и парк, открывают историко-культурный центр Философовых, в котором кропотливо собирают архивные документы, разыскивают людей, что-либо знающих о представителях этого рода.

На переломе XIX и XX столетий жил в Москве великий чудаки, «московский Сократ» Николай Федоров, веривший в реальное «воскрешение умерших отцов» силами объединенных «Общим делом» потомков. Начать же реализацию этого головокружительного проекта Федоров предполагал со всеобщего участия в собирании архивов, создании великого музея истории, восстановлении истории каждой человеческой жизни, поскольку ни одна из них не заслуживает забвения. Утопия утопией, но вот действительным предшественником нескольких современных реформ музейного дела в России Федорова, похоже, считают по праву. Псковское начинание, о котором пойдет речь, Федоров, несомненно, считал бы прекрасным примером братского участия «ученых» и «неученых» (в терминологии Федорова) в деле всеобщего воскрешения.

Два года назад научный сотрудник Псковского музея-заповедника Римма Антипова решила организовать в Бежаницах и в Пскове первые Философовские Чтения, на которые вместе с другими организаторами — сотрудниками музея пригласила историков, филологов, философов, краеведов, ученых из Питера, Москвы, Пскова и даже Канады, разыскала одну из — увы! — последних представительниц одной из ветвей рода, носящих сегодня эту фамилию. Прекрасную инициативу поддержали местные администрации, и чтения «Культурное наследие Философовых. От пушкинских времен до «Мира искусства»» состоялись в августе 2004, а еще через год сотрудники музея отредактировали и издали сборник статей — 21 доклад с этих чтений. Книга получилась неакадемическая, разнололоскутная.

Скрупулезные изыскания музейных сотрудников, ученых, внимательно относящихся к слову и факту, бережно и уважительно, словно археологи, извлекающие человеческие останки из-под спуда черной мерзлой земли, слой за слоем очищающие от праха и пыли полузабытые лица и события, соседствуют с эмоциональным добродушным многословием, приравнивающим Дмитрия Философова к Данте или, наоборот, громами и молниями в адрес злостных либералов Философовых и иже с ними, любезно дополненными указанием единственно верного пути для заблудшей российской интеллигенции.

И все же «воскресители» в сборнике оказались, к счастью, в большинстве.

В.Ф.Игнатенко, сотрудник музея «Старая Ладога», исследует свидетельства о помещиках Философовых на ладожских землях, цитирует сведения о них в писцовых книгах с 1555 г., в дворянских списках XVIII века, рассказывает историю ладожских усадеб и их хозяев из рода в род. Философовы были высокопоставленными государственными чиновниками, офицерами, дослуживались от «подпрапорщика» до «премьер-майора», были министрами, дипломатами, предводителями дворянства, воспитателями в императорских семьях, университетскими профессорами, не раз награждались за службу отечеству, получали в дар имения, такие как ладожские Загвоздь, Белые Кресты, Успенское. Строили и ремонтировали церкви, охраняли заповедные леса, покровительствовали искусствам. Благотворитель-



ность Анны Павловны следовала в каком-то смысле традиции рода. Много интересных подробностей семейной истории сообщает «последняя из могикан», Т.Г.Философова. По ее мнению, «появившийся интерес не к истории вообще, а к истории судеб конкретных людей, к истории семей, фамилий, родов закономерен». Такая вот «личностная», «субъективная» история делает картину исторических событий (которую мы привыкли называть «объективной») более глубокой и неслучайной, исполненной метафизического смысла.

Одной из ярчайших личностей рода была уже упомянутая Анна Павловна, в девичестве Дягилева, жена главного военного прокурора В.Д.Философова, организатора либеральных военных реформ в правительстве Александра II, неутомимая общественная деятельница и одна из первых русских феминисток. Значительная часть сборника посвящена именно ей, и — не искажая фактов, не впадая в экзальтацию — авторы некоторых статей руководствуются тоже личными, «субъективными» мотивами: «Имя Философовых и дела их (...) не были забыты в наших краях никогда. (...) Во многих крестьянских семьях сохранились до сих пор воспоминания о Философовых (есть они и в нашей семье)», — пишет В.В.Булдакова, заведующая историко-культурным центром Философовых в поселке Бежаницы. Как символически и отраден факт, что авторы нескольких внимательно восстанавливающих фрагменты «философской» истории исследований — и сами бежаницкие жители! «На моей малой родине — в поселке Бежаницы Псковской области, — пишет Е.А.Андреева, — чтят и помнят Анну Павловну (...). Стараниями А.П.Философовой в округе появляется школа для крестьянских детей, больница, касса взаимопомощи, открыты библиотека-читальня, чайная». «Влияние Анны Павловны на жизнь Новоржевского уезда Бежаницкой волости, органы местного самоуправления на протяжении почти четырех десятков лет (А.П. стала хозяйкой Богдановского в 1862 г. — А.М.-Р.) было очень велико» (из статьи В.В.Булдаковой «Философовы и Бежаницы»). Авторы исследований цитируют воспоминания, письма, документы, создающие образ удивительной женщины, корреспондентки и собеседницы Тургенева и Достоевского, хозяйки знаменитого петербургского салона, собиравшего цвет русской интеллигенции. Вместе с Марией Трубниковой и Надеждой Стасовой она стояла у истоков женского движения в России, устраивала первые образовательные учреждения для женщин — Высшие женские медицинские курсы (1872) и знаменитые Бестужевские курсы (1878). В.А.Гущина в статье «Анна Павловна Философова. Психология судьбы» описывает, каких «неимоверных усилий» стоило «решение проблемы женского образования в России той поры», как на письмо с проектом устава всеобщих Высших женских курсов, прошедшим обсуждение на совете Петербургского университета, был получен ответ министра просвещения Д.А.Толстого: «Пустая затея!» Курсы все-таки состоялись, как осуществилось и множество других начинаний А.П.Философовой, благодарную память о которой хранят потомки тех, кому она успела помочь в своей деятельной жизни.

Совсем другой тон, способ работы с документами, да и цели у Л.А.Соболевской, автора статьи «Русская феминистка А.П.Философова и революция». У нее накопилось немало претензий к А.П.Философовой. Начать хотя бы с того, что последняя «не любила Победоносцева, считая его «тормозом» во всех (...) начинаниях на почве образования». «Его до сих пор не любит либеральная интеллигенция», — сетует Соболевская и негодует по поводу солидарных с этой интеллигенцией «демократических СМИ». Правда, «теперь времена несколько изменились, — обнадеживает нас автор статьи, — и К.П.Победоносцев в книге «Тайный правитель России» (...) назван выдающимся государственным (...) деятелем (...) понимавшим глубину связи православия с самодержавием и пагубность либеральных реформ для существования Российского государства». Собственно, дальше можно бы уже и не читать, если, не приведи Бог, вы обнаружите в себе каплю ностальгии по «демократическим СМИ» и «либеральной интеллигенции». Но любопытство побеждает, и далее мы узнаем, что Высшие женские курсы были только фиговым листком для прикрытия подрывной работы по подготовке «революционерок-феминисток». В качестве источника подобных сведений автор, в основном, сочувственно использует доклады «шефа жандармов того времени Дрентельна»: «Происхождение (...) слушательниц курсов весьма разнообразно (...) немалую долю составляют еврейки, не живущие с мужьями женщины, известные своей неблагонадежностью». После пассажей об интеллигентах вроде Философовой, заражавших Россию «либеральными болезнями, шедшими с Запада», естественен переход к теме о порочных связях их с мировым масонством. Оставляя на время свою героиню, Соболевская выводит на чистую воду всю насквозь масонскую партию кадетов, идеологи которой



«вербовали» неокрепшие юношеские умы в масонские ложи, при этом надоедливо мороча им голову вредными лекциями о конституционном праве. Картина мирового заговора, которую несколькими смелыми штрихами рисует Соболевская, леденит кровь в жилах. Помогают ей в этих научных изысканиях, кроме донесений жандарма Дрентельна, два-три достоверных источника, например «Заговор против России» М.Назарова и «Войны тайных сил» Н.Е.Маркова. В финале статьи — мораль: «Та «свобода», за которую боролись либералы, обернулась диким своеволием разъяренной толпы. (...) ...могилы Философовых и Вревских были разрыты, а над останками надругались». И эдакой боярыней Морозовой с картины Сурикова грозит перстами Л.А.Соболевская: «По «мошам» и почитание». Не без нотки удовлетворения в голосе. Этим принципом, кажется, и выражается научное кредо автора, которое — может быть, незаметно для него самого — так сближает его с гробокопателями. Справедливости ради авторского тезиса о том, что теперь «времена изменились», надо заметить, что Л.А.Соболевская — «член философского общества при МГУ».

Идеологически близок статье Соболевской доклад А.К.Попова, «эксперта Института стратегических исследований Российской Академии наук» и тоже «члена философского общества при МГУ». В статье о петербургских Религиозно-философских собраниях, столетие со дня запрещения которых всё тем же Победоносцевым исполнилось три года назад, автор расставляет все точки над «i»: инициаторы собраний Д.В.Философов, Д.С.Мережковский, З.Н.Гиппиус и В.В.Розанов вовсе не хотели встреч русской интеллигенции с представителями православной Церкви «в поисках общего языка и веры», держали они «как бы камень за пазухой», а хотели они одного — «оправдания и освящения похоти своей плоти», — делает вывод эксперт института стратегических исследований, и объясняет доходчивей: хотели, «другими словами, запрещенных Церковью (...) сексуальных отношений между людьми одного пола или не состоящими в браке». Так, без лишних сложностей, интерпретирует автор имеющиеся сведения на тему мессианских «проектов» новой Церкви, «Церкви плоти и крови» Мережковских и Философова*, этого «менажа а трау». А вовлекал этот «менаж» в свои кощунственные литургии тьму «знакомых интеллигентов, таких, как В.В.Розанов, Н.А.Бердяев, П.П.Перцов, А.Н.Бенуа, сестры З.Гиппиус, А.В.Карташев, С.П.Ремизова, Андрей Белый». По-видимому, горячечному воображению А.К.Попова мерещится уже, «другими словами», свальный грех всех выше перечисленных, за что можно было махнуть и «на высылку в Сибирь, как это едва не случилось в 1916 г. с Н.А.Бердяевым». Становится понятным запоздалый совет автора К.П.Победоносцеву: «...нужно было ему сразу сказать свое любимое «не надо». Ну не надо, так не надо, собрания закрыли, да только жаль, что в Сибирь всех так-таки и не сослали. Потому что дальше началось то, что уже описала коллега А.К.Попова по философскому обществу: зараженные сами знаете чем интеллигенты развязали «узел узлов русской жизни» — самодержавие. А на его место привели узурпаторов, которые «начали страшные гонения на Церковь под масонским лозунгом ее отделения от государства». Но, видимо, служба в Российском институте стратегических исследований настраивает на определенный оптимистический лад, и автор не теряет надежды: «Отсюда следует, что для того, чтобы воссоздать русскую жизнь (...) нужно снова завязать главный (...) узел русской жизни, восстановить самодержавие». «Только в покаянии, в отречении от самости (...) от либерализма с ложными лозунгами свободы, равенства и братства, на путях возрождения русской православной империи русские интеллигенты найдут в Предании и Писании искомое, и Господь даст им веру и вечную жизнь, — сулит от имени сил небесных в заключение автор. — Тогда они перестанут быть русским големом, управляемым закулисными талмудистами». Завидное, надо отметить, единомыслие царит в рядах философского общества при МГУ.

Однако двумя статьями деятелей упомянутого общества не хотелось бы дискредитировать всего сборника, в числе авторов которого солидные и уважаемые исследователи, как, например, А.Н.Николюкин, автор трудов по истории Серебряного века, составитель Литературной энциклопедии русского зарубежья, написавший в сборнике о сложных отношениях З.Н.Гиппиус и Д.В.Философова. В сборнике участвуют научные сотрудники Пушкинского дома, Русского музея, Государственного Литературного музея... Почти половина сборника посвящена Дмитрию Владимировичу Философову, легендарному сооснователю журнала «Мир искусства», известному публицисту, соавтору Мережковских и одному из организаторов злополучных собраний.

* Проектов, которые другой автор сборника «неосмотрительно» назвал «романтическими идеями триумvirата, преисполненными жертвенного героизма и драматизма». См. статью Дж.Ст. Дюрранта «Неизданные эссе Д.В.Философова»



Два автора — канадский русист профессор Дж. Ст. Дюррант и сотрудник Российского института истории искусств Т.Д.Исмагулова — восстанавливают фрагменты сравнительно мало изученного «польского периода» Дмитрия Философова, бежавшего вместе с Мережковскими и В.Злобиным из Совдепии в 1919 г., и с 1920-го до смерти в 1940-м жившего в Польше. Канадский исследователь — один из очень немногих авторов, пишущих об эмигрантском периоде Философова, о его превращении в «политического эмиссара» Третьей России*, в создателя и многолетнего редактора эмигрантских изданий «За свободу!», «Молва», «Меч». Нельзя не согласиться с Дюррантом в том, что «политический радикализм, бурная антибольшевистская позиция, отличавшие Дмитрия Владимировича, конечно же, не уживались с советским литературным официозом, и это сделало его персоной нон-грата в СССР», однако спорным представляется мнение о том, что Д.В. был «наиболее значительным представителем, выступавшим от имени растущей группы русских интеллигентов (...) в эмиграции». «Наиболее значительным» в Польше — возможно, да, но вот «от имени растущей группы»... Контраргументы мы найдем в обстоятельной статье В.Станиславского о русской эмиграции в Польше, напечатанной в этом номере. Так кем же был Д.В. Философов для соотечественников-эмигрантов? Козлом отпущения или харизматическим лидером эмиграции? Возможно, правда таится где-то между этими двумя крайностями, а может, парадоксальным образом, вмещает в себя обе. Известно, что нет пророка в отечестве, но нет его и в эмиграции...

Т.Д.Исмагулова, исследующая историю русских эмигрантов в Польше, в свою очередь, рассказывает о «Домике в Коломне», русско-польском дискуссионном литературном клубе, созданном Философовым в Варшаве в 1934 г., в заседаниях которого участвовал цвет варшавской интеллигенции**; исправляет неточности в предшествующих публикациях о «коломенских обитателях». Философов, ненавидимый частью эмиграции за неисправимое «полонофильство», последние двадцать лет своей жизни почти одиноко размахивающий «мечом» в направлении ветряной мельницы русско-польских взаимных предубеждений, а в конце ее, усталый и разочарованный, назвавший себя (вслед за Ст.Стемповским) «рыцарем проигранного дела», незадолго до смерти сказал Юзефу Чапскому: «По крайней мере этот клуб нам удался...»***

В заключение хочется искренне поблагодарить организаторов Философовских чтений и участников сборника, авторов прекрасного псковского начинания, бережных воскресителей «субъективной» русской истории. А «членам философского общества», претендующим на ортодоксальную, объективную и обязательную для всех русскую истину, воздавших свое «почитание» «мощам», таким диссонансом звучащее в этой книге, хочется ответить словами Маяковского Брюсову, собирающемуся написать продолжение «Египетских ночей»: «Что против — Пушкину иметь? / Его кулак навек закован / В спокойную к обиде медь».

Сборник статей первых Философовских чтений, Псков: Издательство Областного центра народного творчества, 2005.

* Авторами концепции Третьей России — «не Красной и не Белой» — были, наряду с Д.Ф., Мережковские и Б.Савинков. См. статью В.Станиславского в этом номере журнала.

** О «Домике в Коломне» и его польских гостях см. публикацию воспоминаний Л.Гомолицкого в этом номере.

*** Ю.Чапский. Мережковский и Философов в Польше // «Пульс» №60, 1993 (по-польски).



Юзеф Чехович

Перевод
Натали Горбаневской

РЕЧЬ ИЗГНАННИКОВ

О русской литературе в СССР говорят много, зато лишь узкому кругу известно, что у тех русских, кого исторический катаклизм вырвал из границ отечества и принудил жить скитальцами на землях чуждого мира, есть своя литература, своя поэзия. Нелегка внешняя история этих людей, трудящихся шоферами, рабочими, корректорами и Бог весть кем еще в разных столицах Европы. Намного труднее их внутренняя жизнь, связанная с сознанием рассеяния, безнадёжностью судеб и бессилием против веющей бури.

Небольшие литературные кружки теплятся в Париже, Таллине, Праге, Варшаве и других местах сосредоточения эмигрантов.

Сборники стихов Довида Кнута, Владимира Ладинского, Льва Гомолицкого — назовем только звезды первой величины — появляются редко и находят лишь слабый отклик, жалостно несоответственный их поэтической ценности. Любой писателишка, любой рифмоплет оттуда, из огромного государства, из дома неволи, куда более прославлен, чем эти крупные поэты. И трудно удивляться. Поэзия не окупается, а за теми стоят соображения, которые толпам ближе, чем культ красоты.

Живут эти эмигрантские поэты в атмосфере, в которой Бог, утешитель потерпевших поражение, — близко, а дела повседневности отходят на дальний план. Покинутая земля кажется им райским садом, а все происходящее — долгой преходящестью, полусном, полуявью.

*Всюду страшная дремлет земля.
Где-то Божий колышется сад.
И лежат плацаницей поля,
И березы в просторах грустят.*

(Г.Клинггер)

Не имея возможности найти непосредственную опору в делах своей страны, которая постепенно становится для них мифом и легендой, они обращаются к древнему русскому языку, языку былин, сектантских повестей, апокрифов о Голубиной книге. Они вперяют взор в праславянские обряды, вековые обычаи и соединяют это с мессианскими строфами о вождах, которые придут, о минуте возвращения на Волгу, Оку и Каму. Трудный, стилизованный язык сопрягается с мастерским современным стихосложением и вместе с тяжелыми от отчаяния мыслями создает поэмы, душные как чад, отравляющие чарами. Антитеза советского материализма, мистический спиритуализм, как

Петр Мишнер

СРЕДИ СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ

Есть находки, которые попадают в руки в нужный момент. Мало того — тянут за собой следующие, тоже нужные.

Сначала в пыльной подшивке довоенного литературного еженедельника «Пион» я обнаружил статью Юзефа Чеховича о русских эмигрантских поэтах. Хорошо, что благодаря этому крупнейший поэт «второго авангарда», погибший в сентябре 1939 г. при немецкой бомбежке Люблина, может появиться на страницах «Новой Польши». Вероятно, в будущем его надо показать шире: его стихами, которые сильно повлияли на новейшую польскую поэзию, и посвященными ему заметками Чеслава Милоша.

В своей статье Чехович приводит цитату из стихотворения Георгия Клингера в своем переводе. Здесь необходимо сообщить, что поэт (1918-1976) позднее стал священником и выдающимся польским православным богословом (известен в Польше как о. Ежи Клинггер).

Больше всего места Чехович уделяет стихам Льва Гомолицкого, русско-польского писателя, отрывок из воспоминаний которого мы уже печатали («Новая Польша», 2005, №6). К сожалению, не удалось найти русский оригинал стихотворения, которое Чехович в своей статье приводит как особо важный пример его творчества, и пришлось в этом месте статьи сделать пропуск.

Лев Гомолицкий (после войны употреблявший польское имя Леон) был довольно видной фигурой в дискуссионном клубе «Домик в Коломне», который организовал в середине 1930-х в Варшаве Дмитрий Философов. В свое время в «НП» об этом писал Ежи Тимошевич (2003, №7-8). О деятельности Философова говорится также в публикуемой в этом номере статье «Согласие и раздор». А среди гостей «Домика в Коломне» бывал и Юзеф Чехович.

И это еще не конец незаурядным находкам. Просматривая довоенные номера литературного журнала «Скамандр», я наткнулся на статью Гомолицкого, характеризующую — до-



вольно субъективно — русскую эмигрантскую литературу. Но особенно интересным мне показался отрывок, посвященный дискуссии на эту тему, которая прошла в варшавском «Домике в Коломне». Главный герой этой записи — выдающийся польский эссеист Ежи Стемповский (с начала войны — в эмиграции), тексты которого тоже печатала «Новая Польша» (2000, №7-8; 2001, №4). Лев Гомолицкий. От внеразумности через молчанье...

Недавно я читал доклад о молодой русской эмигрантской литературе в литературном кружке — «Домике в Коломне», основанном в прошлом году в Варшаве тремя русскими и тремя поляками. Собрания в этом кружке происходят действительно в «кружке» избранных, численно малом, но высокого уровня. Больше всего на докладе было польских писателей, которым доступнее «неоткрытые материки» и которые больше знают о них. Несмотря на это, и им я сказал кое-что новое. А читающим массам в Польше молодая литература русской эмиграции неизвестна, главным образом из-за отсутствия переводов... Но это не главное. В дискуссиях, которые в «Домике в Коломне» проходят «вокруг самовара», участники сказали немало интересного. Участие в них принимали, в частности, Ежи Стемповский и [Юзеф] Чапский — соучредители кружка. Чапский во время доклада заметил, что существует связь между некоторыми молодыми эмигрантскими писателями и Прустом. «Обитая коркой комната» Пруста — их историческое предназначение.

Избавление от повседневной кровавой суматохи истории дает писателям-эмигрантам свободу и дар слышать будущее: то, чего не услышишь днем на городских улицах, может быть услышано в тишине пустыни. Стемповский сказал, что уже давно следит за русской эмигрантской литературой (особенно поэзией), ища в ней ответа на безнадежность настоящего момента, на котором остановились часы Европы. Стемповский — весьма осторожный собеседник. Он предпочитает оставлять за собой все двери открытыми. Но после общего разговора за коломенским самоваром на мой тихий вопрос, обращенный к нему лично: «И что же, вы нашли?» — он ответил так же тихо: «Да, нашел». — «Как же так, видите, вы видели будущее, овладели такой тайной и ничего нам о ней не скажете?!» — «Если бы это можно было выразить с помощью слов, тогда это было бы не будущее, а настоящее». «Скамандр» №LVIII, 1935

подземное солнце, озаряет этот поэтический мир, в котором предки важнее братьев:

*И мрамор белизной высокой,
белей, чем горный снежный пик,
великих сохранил безликий
столь близкий — боговидный лик.*

*И вновь медовостию вечной
от смертной скорби спасены,
в венок мы Дедов бесконечный,
в соцветье предков вплетены.*

(Л.Гомолицкий)



Антон Домбровский

Это не одно только медовое, славянское помазание, но и след прикосновения Муз. Безнадежно рассеянные по свету, побежденные так, как мало кто во всем мире, они тем не менее не устают вершить свой поэтический труд. Несколько тонких книжек выходит в Париже. Что-то печатает С.Барт в Берлине, пражский кружок собирается «В кругу лампы», варшавский — создает уголок для дискуссий под названием «Домик в Коломне». Там и сям появляются маленькие поэтические буклеты, отдельно и сериями. Вот «Скит» печатает в Праге несколько тетрадок размером в 16-20 страниц. В этих тетрадках — по два-три стихотворения поэтов из Праги и других мест (Ю.Гессен, Т.Ратгауз, Е.Чегринеева, К.Набоков). Вот в Варшаве выходит серия «Освященная лира»: это тетрадки еще меньшего объема, всего по несколько стихотворений Л.Гомолицкого, Ю.Иваска, Г.Клингера, А.Кондратьева и других. Там, где должно стоять место издания, на этой серии сделана надпечатка «В эмиграции» — сколь знакомая и сколь красноречивая для нас, поляков...

Нередки среди этих людей рассеяния и рукописи. Студенты, потерпевшие крушение интеллигентности за прилавком, солдаты носят в карманах записные книжки со стихами, как во времена романтизма. Это стихи, переписанные из книг, из поэтического уголка какой-нибудь газеты или из памяти, наизусть. Но бывает и по-другому: авторы сами трудолюбиво переписывают целые книги, которые никогда не видели типографского станка, и пускают их кружить среди самых близких. Рукописные сборники нередки



украшены линогравюрами, гравюрами на дереве, рисунками, а иногда — как в текстах Алексея Ремизова, каллиграфически выведенных средневековой вязью, — инициалами и завитушками.

Какова же эта поэзия? Больше ли в ней своеобразной, художественной силы по сравнению с советской? Пожалуй, да, если из категории советской поэзии мы исключим то, что оказалось в ней случайно, например Бориса Пастернака.

Один пример в делах поэзии ничего не решает, но, может, не будет ошибкой привести здесь стихотворение Льва Гомолицкого «предгрозовые электрические травы...»:

*предгрозовые электрические травы —
проводники господних сил
о остря упрюгие! вас черной лавой
эфир небесный раскалил
не травяная кровь зеленая но искры
по вашим стеблям из корней
вверх устремляются на острях повиснув
слетают в знойный дух и вей
в мир утоляющий реки войдя корова
из губ медлительных точка
по капле воду пьет из голубого
предчувствие грозы луча
и вот клубится ваше знойное дыхание
из берегов земли растет
и дышит молнией и тяжкое бряцанье
гремит с дымящихся высот
от молний рушатся деревья тучи дома
горят дела людей слова:
так став огнем став дымом туч став громом
колеблет мир земной трава*

Так «колеблет мир земной трава», а вера отцов обещает этому поколению, что они смогут «в нави зрети» — на польский это можно перевести как «прозреть в раю», стать видящим, когда уже наступит райское пребывание после жизни...

Под таким, хотя менее стилизованным знаком идут и стихотворные созерцания Ладинского, а также на вид холодные, но полные внутренних мук видения Довида Кнута.

Эти три имени: Гомолицкий, Кнут, Ладинский — стоит запомнить.



Лев Гомолицкий

Все это производит впечатление, что мы остаемся в кругу одних и тех же людей, интеллектуальной элиты 1930-х, только открываем новые связи между ними.

Встречаются, однако, и новые лица — точнее, забытые.

В первых сентябрьских номерах русского эмигрантского еженедельника «Меч» за 1938 год, выходявшего в Варшаве, напечатано несколько статей после кончины Антона Домбровского. Он был редактором, прозаиком и — хотя писал по-русски и работал в русской печати (а вдобавок, как написано несколько загадочно, «вел и антибольшевицкую политическую работу»), — был урожденным поляком.

Благодаря сообщениям в «Мече» и дочерям писателя, которых удалось найти, можно приблизительно описать его судьбу. Он родился 21 января 1889 г. в имении Воронежской губернии. Его дед Антоний Борзобогатый был врачом, участником восстания 1863 года. Окончив в Воронеже реальное училище, Домбровский поступил в Московский коммерческий институт. Во время мировой войны был в армии, выслужил офицерский чин и Георгиевский крест. Потом воевал в рядах Добровольческой армии, под Касторной попал в плен к буденновцам. По пути на расстрел бежал. Это лишь один из арестов и побегов Домбровского во время гражданской войны. В конце концов его посадили в лагерь в Туле, откуда перевезли в Бутырскую тюрьму. Из тюрьмы его вытащил и помог выехать в Польшу епископ Цепляк.

В Варшаве уже в 20-е годы Домбровский сотрудничал с газетой «За свободу», потом стал редактором «Молвы» и «Меча». Во всех этих органах печати, а также в православном «Слове» он печатал статьи и рассказы. Написал два романа, один из них, «Иван Каложный», был издан в Риге (1937).

Умер он в Варшаве 23 августа 1938 г. от последствий старых ран. Оставил жену Марию и девятерых детей. Трудно себе представить, в каком страхе жили эти люди все послевоенное время. Немногочисленные документы (фотографии, вырезки из газет) они прятали в ящике стола с двойным дном. Имени Домбровского, похороненного на кладбище в Брвинове под Варшавой, не знает ни история литературы, ни история периодической печати.

И сколько еще было таких, как он?



Станислав Гроховяк

СТИХИ

Интродукция

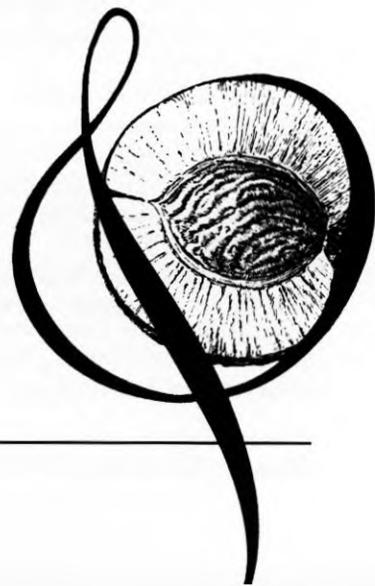
Не весь я сгину Уцелеет это:
Любовь к земле где лопухи и лужи
И мненье что селёдка в пост не хуже
Чем спелые плоды осенних веток

Ведь даже утром женщину люблю я
Когда лежит с ресничек тушь размазав
Она моя и я её целую
В восторг и в пудру В солнышко и в мясо

Так ублажаюсь И не только небом
А отраженьем неба в пятнах нефти
Попробуйте соединить сумеите
Восторг и погребенье быль и небыль

Кто слаб тот скажет — это слишком грустно
А смелый скажет — слабым жить не лучше
Я выбираю только плод колючий
Сквозь полотно беру его искусно

Пер. Давида Самойлова





Чистые

Чту безобразность
Суть её яснее
При вспышках света
В муках истязанья

Она рождает форм разнообразья
Горами окружает
Стены морга
В промерзший мрамор
Вносит запах мыши

Есть в мире люди чистые настолько
Что вслед им пёс
И то не станет лаять
Хоть не святые
Да и не тихони

Пер. Юрия Левитанского



В потёмках I

— Птицу поведай...
— Поведаю. Слушай:
Был у стрелы золотой наконечник
И безупречно коварное тело...
Падая с неба, она умирает.

— Рыбу поведай...
— Поведаю. Слушай:
Вот молоток, он кроток, но крепок,
Кто-то к лицу его прижимает.
Лица красавиц гладки, как рыбы...

— Коня поведай...
— Поведаю. Слушай:
Нежно стреножить шёлком. А после —
Ласка ножа по блестящем у крупу...
Конь даже мёртвый ответит на ласку.

— Бойню поведай...
— Поведаю. Слушай:
Единороги — тяжёлые веки —
Белые, садом вишнёвым бродят,
Гривы их плачут на реках ленивых...

Пер. Андрея Базилевского



IV. Жалость
(Из цикла «Белые сонеты»)

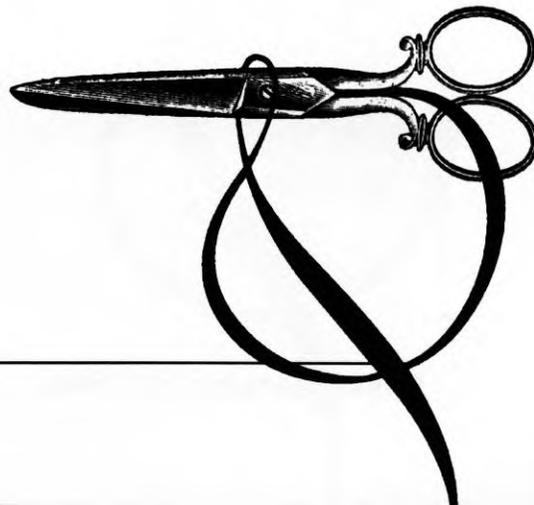
Рану целую. Рану — твой рот —
Словно разверз я мечом осторожно.
И перестать уже невозможно,
Ибо он жалобу произнесет.

На крыльях тебя увлеку в полет —
Хоть силы тают, они ничтожны.
Но и не взять тебя невозможно —
Тогда в тебе огонек замрёт.

Рану целуя — закрыть от смерти.
К ней устремлен твой неверный шаг.
Вихрь твои волосы взвил, как флаг...

Силы небесные, ярость умерьте!
Роса нам предсказывает потоп,
Но это не самая тягостная из проб.

Пер. Святослава Свяцкого





Армстронг — лунный Колумб

Нет ни меча, ни топора;
Это торжественная пора.

Минула ночь — свет играет по крышам;
Спит детвора: обкурились гашишем.

Чтоб они спали, чтоб жены тучнели,
Зреют у мужа инфаркты в постели,

Нет ни меча, ни топора;
Это торжественная пора.

Кто-то чуть свет пробуждается с криком;
Все проворчали: «Эх, малый-то с бзиком!»

Вышел с зарею молочник бессонный,
Брызгал в глаза молоком из бидона.

Барышни скопом в трюмо вскочили,
Кровью губки смочили.

Нет ни меча, ни топора;
Это торжественная пора.

Мертвых вакханок влекут в карнавале,
И парикмахера к ним привязали.

Тут же нудисты, лысые твари,
Пенис из воска мочат в отваре.

В храме торговля — консервы горою:
Курвы в соку и в дёгте плейбои.

Хватит. Уж снег. Замело нас по пояс,
И нависает вершиною полюс.

Ночь насылая и сумрак во благо,
Шар проплывает бледно и наго.

Там исчисляет ученый мгновенья,
Звезд покоренных считая каменья.

Нет ни меча, ни топора;
Это торжественная пора.

Пер. Святослава Свяцкого

Стихи для публикации выбрал Анджей Титков



СТИХИ СТАНИСЛАВА ГРОХОВЯКА в новых переводах Андрея Базилевского

Канон

Поэзии дыханье — снег иль сажа
Когда дыханье снег — лоза чернеет
А сажа — вдруг припорошит ладони
Влюблённых бледных
Бледных палачей

Чело поэзии — горящий куст в ночи
А рядом — стройный лоб единорога
Вороньи клювы в ножнах золотых
Слоистый образ
Девичьих коленей

Отец поэзии — и бог — и дровосек
Тот хворый человек с хребтом дрожащим
С лицом застывшим — будто бич его рассек
Иль чёрта тень
На облаке верхом



В течение слова

А сверх всего
Что мы творим со смертью
То в наготу её
То в платье обряжая
Она всегда — минуты призрак вдовий
Внезапное старение умерших

Ещё позавчера он был мужчиной
Мог рыбу есть сажать деревья плакать
В течение слова
Вдруг пропал Теперь он
Ровесник папоротников и угля

Отец мой — говорю —
Но птиц не вижу
Клин птеродактилей летит по небу





КС...

Бунт не проходит, он теперь окреп;
В полёте зрелом он себя обрёл —
Так кружит в небе опытный орёл.

Бунт окрылён — он точен, а не слеп.

Сначала был он — как в глаза песком,
Как потасовка мальчиков на пляже;
Теперь он основателен и тяжек.

Бунт окрылён — как глины плотный ком.

Смотри-ка: нежность, этот светлый шар,
Уже ко мне нагое пламя клонит..
Расслабим челюсти и разомкнём ладони.

Бунт окрылён — как нежный ровный жар.

Откровение святого Иоанна
Да, пьёт народ, и я с моим народом
Сажусь и пью, спускаюсь ниже, ниже —
Там негде падать, ибо даже падшим
Не стало места под Стеной Рыданий.

Да, пал народ, его крыло разбито —
Зачем оно? — ведь не было второго;
Лицом к земле: когда его поднимут,
Глаза закройте детям и монахам.

Лежат девчонки — брошенные навзничь,
Елей священный брызжет из воронок,
В свинце их губы. Небо им прощает,
Лежат крестами — как кресты недвижны.

И пьёт народ — и я среди народа
Храню завет Грядущего Спасенья.
Так будем же здоровы. Пусть, как прежде,
Полынь-звезда качается над нами.





Анджей Титков

СТАНИСЛАВ ГРОХОВЯК — ТРИ ЭПИЗОДА

Осенью 1961 г., когда мне было полных 15 лет, я начал лихорадочно писать стихи. Стихи были несамостоятельные, вторичные, наверняка плохие. Несмотря на это, как всякий неопит, я был категорически нетерпим ко всем, кто не писал стихов и не интересовался поэзией. Много читал, жадно глотал книги, без всякого плана, лада и склада. Знакомился и с неизвестными мне прежде польскими поэтами. Еще до того я восхищался стихами Збигнева Херберта. Открыл Мирона Бялошевского, Ежи Харасымовича, Станислава Гроховяка. Гроховяк скоро занял свое место на моем приватном Олимпе. В октябре 1963 г. два моих стиха появились на страницах еженедельной газеты «Вспулчесьность» («Современность»). И тут уж я ощутил себя настоящим поэтом, коллегой Рембо, Элиота, Анджея Бурсы и всех прочих — кем я восхищался, кому завидовал и с кем, естественно, хотел сравняться. Мой статус в среде сверстников существенно повысился. Некоторые немилосердно издевались надо мной, но другим явно импонировало, что я автор опубликованных стихов. Я тогда участвовал в разных поэтических конкурсах. Среди них был один радиоконкурс. Жюри возглавлял Станислав Гроховяк. Я получил премию, возможно, из его рук. Хотя даже в этом теперь не уверен. Помню, было это в здании на улице Мальчевского, и я очень волновался. Так в моей жизни впервые появился Гроховяк.

Отбивка. Прошли годы. Конец шестидесятых. Довольно грустное, серенькое время. Каторжный труд и безнадега. Все началось для меня в пятницу 8 марта 1968-го. Я съехал на уикенд из Лодзи в Варшаву. Тогда я был совсем аполитичным, совершенно не знал, что творится. Вразумил меня встреченный в поезде приятель. Дома ждала сестра, спина у нее посинела от ударов милицейских дубинок. Все стало ясно. Потом, тоже вследствие мартовских событий, меня лишили студенческих прав. Однако как-то я учебу закончил и сразу пошел на свою первую работу. Тогда я довольно часто заходил в редакцию [варшавской] «Культуры», где поэтическим отделом заведовал Гроховяк. Для меня было страшно важно — напечататься. Но редактор Гроховяк оттягивал принятие решения. Он водил меня за нос, петлял, играл со мной в кошки-мышки. Во время этих визитов мы иногда разговаривали о политике. Мои взгляды уже были радикально антикоммунистическими. Гроховяк был осторожен. Он не хвалил впрямую того, что происходило. Явное одобрение системы никогда не было в моде в той среде, но он видел и что-то позитивное. Однажды, критикуя меня и моих коллег, которые сидели тогда в тюрьме, он использовал презрительное в его устах определение — «маркузисты». Я не очень-то знал тогда, кто такой Герберт Маркузе. Думаю, его знания на эту тему тоже были не слишком глубоки. Можно было сказать «сионист», однако гораздо более «sophisticated» звучало — «маркузист». То ли так, то ли как-то вроде. Ненадежна память людская. Одно знаю точно: в варшавской «Культуре» я так и не опубликовал ни одного стихотворения.

И опять прошли годы. Вторая половина семидесятых. Я уже немного окреп профессионально, на моем счету кое-какие успехи. Хочу наконец исполнить свою заветную мечту — снять художественный кинофильм. У меня в голове давний замысел — рассказ Гроховяка «Горда». Красивый, лиричный, пастельный, трогательный текст, а кроме того, что для меня важно, малоизвестный. Чтобы получить согласие автора, я тогда в первый, впрочем, и в последний, раз посетил Станислава Гроховяка в его доме на улице Повсинской. Он уже был болен. Лежал в постели. Говорил с трудом. Я не отдавал себе отчета, что это смертельная болезнь. Мы долго беседовали о «Горде». Я говорил о своем восторге, который не иссякает много лет, о духовной общности, по причине которой я хочу, чтобы именно этот рассказ стал канвой моего первого художественного фильма.

Гроховяк согласился на экранизацию. Предоставил мне свободу действий и пожелал удачи. Сдержанно выразил свое удовольствие. Наверно, это был самый длинный мой разговор с ним. В памяти осталось немного. Измученный взгляд и капля пота, стекающая по пергаментно-белому лицу. Через несколько дней я написал по рассказу «Горда» сценарий «Холодные огни». Этот фильм так никогда и не был снят.

Станислав Гроховяк умер в 1976 году. Ему было всего 42 года. Я присутствовал на траурной мессе. Он выглядел очень сосредоточенным, торжественно и окончательно. Было много слез, а потом много водки. И строфы стихов, блуждавшие в голове. И убеждение, что только поэзия имеет какой-то смысл. Только она спасает и только она спасется...

*Смотри-ка: нежность, этот светлый шар,
Уже ко мне нагое пламя клонит...
Расслабим челюсти и разомкнём ладони.*

Бунт окрылён — как нежный ровный жар.
(Пер. А.Базилевского)



Яцек Лукасевич

ГОРЯЩАЯ ЖИРАФА



Станислав Гроховяк

Гротеск у Гроховяка был снимающей чары и отстраняющей формой индивидуального, личного страха, но также — восхищения и восторга. Гротескные сцены можно воспринимать как сложную театральную конструкцию. Гротескный автопортрет, участвуя в этом театре, был тесно связан с субъектным «я». Но он проецировался также на «мы» (как ранее, в период «Рыцарской баллады», так и позднее, во времена «турпизма»). Так возник коллективный субъект. Гротеск превращался в манифест общности. Ранние манифесты поэта были полны наивного активизма и морализаторства, в турпистический период — уже нет.

«Мы с Богом во мраке на кулаках». Не «я», а «мы». Даже если сам Гроховяк (экзистенциальный субъект) прятался за это «мы», другие находили себя в его стихах, примеряли на себя это «мы» либо принимали его «я» и преобразовывали в объединяющее, общее «мы». Обнаруживали себя в «нас» из стихотворения «Горящая жирафа» (книга «Менуэт с кочергой»)

Да
Это так
Убогий костяк человеческого страха
Тихонько коптящая небо жирафа
Да
Это так

Из-под стены аспирина и пота
Морда раздавленного пулемёта
Да
Это так

Почему только прах от виска до челюсти
Что за звон там в порожнем черепе
Да
Это так

Это придёт
Тяжело неизбежно
Как кочерга
Как нога
Как брюхо как сердце
Чёрный погост человеческого неба
Да
Это так

(Здесь и далее пер. А.Базилевского.)

См.: С. Гроховяк. Завтра начнётся // Польская поэзия: XX век. Антология ***. М.: Вахазар, 1999)

Если какое-либо стихотворение Гроховяка стало манифестом, то именно это. Основой (поводом) была картина испанского сюрреалиста Сальвадора Дали. Репродукция «Горящей жирафы» висела на стене в квартире Гроховяка в Брвинове. Но это не описание картины. Картина дала гротескный материал. Оригинал находится в Музее искусств в Базеле, он невелик (35x37 см). На нем представлено пространство скорее пустынное. На самом



дальнем плане горы, важной кажется особенно одна — с ясно обозначенной желтой дорожкой, ведущей к вершине. Несколько ближе — жирафа, цвета близкого к телесному. Она стоит спокойно. От шеи до хвоста из нее вырываются языки пламени, словно огонь исходит изнутри жирафы. Над пламенем — дым.

Еще ближе — две женские фигуры, сконструированные из металлических прутьев, из протезов, костылей, на которых передвигаются хромые: все это из дерева, ткани и, несомненно, также из обычной, живой плоти. Фигура, стоящая в глубине, держит в руке красный платок, на голове у нее нечто вроде куста. Та, что стоит ближе, заполняет собой во всю высоту весь передний план, правой стопой касаясь нижней границы картины; окаменевшей, красноватой, лишенной черт лица головой она касается верхнего края. Руки ее вытянуты перед собой, они телесного цвета. Если бы не подпорки, вмонтированные в эту фигуру сзади (те самые инвалидные костыли и прутья) — она должна была бы рухнуть. Вдобавок в нее вмонтированы деревянные ящики, наполовину выдвинутые и, кажется, пустые. Один, самый длинный — пониже груди, семь поменьше — в ляжке, от бедра до колена. Фрейдистская интерпретация напрашивается сама собой, но оставим ее. Ящики желтые, их цвет перекликается с маленькой желтой фигуркой человека на дальнем плане — между горой и жирафой (о нем я еще не сказал), а также с упомянутой желтой дорожкой, ведущей к вершине. Все, что на картине желтого цвета, — светлое, светящееся.

«Костяк человеческого страха» в стихотворении Гроховяка выполнен по образцу фигур переднего плана картины Дали. В стихотворении человек — тоже конструкция из мяса и металла («Как кочерга / Как нога / Как брюхо»). У него «звон в порожнем черепе» (каждый может представить себе собственный скелет). Атмосфера детской болезни совмещена с войной («морда раздавленного пулемёта»). Эти стихи произносит «я», а не «мы». Слушатели принадлежат к той же гротескной картине, они в ней присутствуют, как и жирафа и фигуры на переднем плане. Картина испанского художника в стихотворении расширена или встроена в более широкую образную конструкцию. В произведение включены и слушатели — они представлены как больные животные (у Дали таких нет).

*Я пишу эти строки
Себе самому
И двум ослам: ревматiku
И хромоту —
Они поймут
Да
Это так*

Вы, — говорит поэт, — пребываете в той же животной форме, вы и есть «они», поскольку осла — это переодетые люди, персоны, а также иные, чем на картине, «костяки человеческого страха», составленные из железа (кочерга, пулемет) и плоти. Эти слушатели размещены, подобно субъекту и объекту (а объект — это фигуры, придуманные Дали), — на фоне «чёрного погоста человеческого неба». На картине Дали его обозначает черная полоса, идущая горизонтально по верху картины. В эту черную полосу входит окаменевшая, а может быть — опаленная, как терракота, лишенная черт лица голова фигуры переднего плана.

Таким образом, мы живем в интенсивной голубизне между этой черной полосой сверху и пустыней, на которой стоим. Небеса словно рухнули, перестали существовать. А когда они рухнули — остался гротескный кошмар.



Сальвадор Дали
ГОРЯЩАЯ ЖИРАФА
Гравюра

Сходный кошмар повторится в начале повести Гроховяка «Карабины». Ее герой Бруно будет рассматривать город, куда — утратив веру — он прибыл со своих гор. В этом городе по пустым улицам перекатываются ведра — бесшумно, словно они из фетра. «Небо стояло над всем этим желтое, с него исчезли все птицы (даже вороны), были сметены самолеты, они полетели дальше и забыли об этом небесном пространстве, где уже сделали свое дело, — небо предвещало теплые болезненные ветры полной оттепели, небо было замкнуто, как мертвое лицо». Гибли веры, рушились идеологии. В гротескной картине люди находили себя. Конструкция горит, но эта конструкция — и пылающее животное, и человек. Ведь в действительности искусства, которое по-прежнему является моделью космоса — ибо не может ею не быть, — трудноопределимы границы между артефактом, конструкцией-вещью и человеческим, биологическим началом, хотя эти границы несомненно существуют.



Ибо жить

Означает:

Уйти за мясом Дойти до мяса

Возделать мясо Разделать мясо

Облапить мясо Облаять мясо

Утроить мясо Угробить мясо

Скроить из мяса Во имя мяса

Это так

В «Карабинах» находим описание ситуации, в которой рухнула вера ксендза Бруно. Его вызвали, чтобы он совершил обряд над приговоренными, которых должны были сжечь. Они отказались исповедаться, хотя Бруно раньше знал их как добропорядочных прихожан. Перед костром отпали протезы, а Бруно, глядя на пылающие тела, видел в них только горящее мясо... (Как защитить это мясо, показал ему потом коммунист Шалюга, впрочем, фигура ходульная.)

Бруно:

«Я много повидал убитых. Застреленных, повешенных, зарубленных топорами. Это еще весельчаки. Но видел я и сожженных. Тут уж нет сомнений: это всего лишь сожженное мясо. В этом бедном горелом мясе никогда не могло быть бессмертной души... Такое мясо можно подцепить вилкой, как свинину».

Что это — доказательство смертности души через каннибализм? Но переломы от веры к неверию происходят резко и неожиданно. Для Бруно внезапно обретенная вера в несуществование или смертность души оказалась освобождением. Он посмотрел на мир новыми глазами. Именно плоть-мясо, собственное тело и чужие тела, в их смертности, оказались ценностью.

Гроховяк во второй половине шестидесятых годов творил мир, которому в философском отношении ближайшим соответствием был, пожалуй, экзистенциализм. Первое лицо в его стихах не было его биографическим «я». Пусть видимость не собьет нас с толку. Ведь экспрессия этих стихов — вовсе не «искреннее аффективно-интеллектуальное выражение биографии художника. Поскольку экспрессия касается здесь экзистенциального проекта, ситуации, которая вскрывает нашу общую человеческую судьбу». «Турпистические» стихи он писал от имени тех, кто переживал свое «человеческое состояние» в тех же исторических условиях (военное детство, возмужание в годы сталинизма). Его стихи были связующим звеном между личностным субъективным «я», поколенческим переживанием и всеобщим трагизмом человеческого бытия, раскрывали читателям их индивидуальную идентичность и общность.

С позиций экзистенциализма, «искусство (а значит, и литература) либо должно совладать с демоническим ничтожеством мира, создавая мир ценностей, нечто, способное пережить столетия, говорящее о том, что человек может заполнить эту пустоту, либо оно — всего лишь свидетельство бренности существования, и его единственный смысл состоит в трагическом самопознании человеческой судьбы. Так или иначе, художественное творчество «стыкуется» с абсолютной действительностью — с ее отсутствием, которое требуется заменить, или с ее недостижимостью, которая постоянно напоминает о том, что средоточие мира — человек, его неповторимая, единственная экзистенция».

Свобода человека столкнулась с неизбежностью смерти. Бог в этой перспективе не был гарантом метафизического порядка. Он мог быть неясной надеждой отдельной судьбы. Бруно, а также авторское «я» «Горящей жирафы» сочли эту надежду призрачной и освободились от нее. Взяли судьбу и свободу в свои руки.

Люди, «хотя следом за ними шагает Ничто, хотя их ожидает могила, хотя окружающий мир всегда будет естественным врагом дремлющих стремлений и желаний, — должны жить так, будто вся их жизнь имеет смысл, и умирать с открытыми глазами. Решающее значение для сохранения человеческого достоинства имеет именно бунт сознания, бунт интеллекта против неизбежного предназначения. Бунт, правда, не в силах его изменить, он не даст даже какого-либо более или менее полного удовлетворения, — однако будет критерием моральной ценности», — писал Конрад Эбергардт на той же странице, где Гроховяк, который был тогда редактором отдела в газете «За и против», поместил свой очерк о «Запретных играх».

А о чем могла говорить сюрреалистическая картина, репродукция которой висела на стене в брвиновском доме? Какие представления лежат в основе сюрреализма? Сюрреалисты были материалистами. Однако уже во «Втором манифесте» Андре Бретона идет речь о высшей точке (point surreme), в которой жизнь и смерть, реальное и нереальное, прошлое и будущее, поддающееся и не поддающееся высказыванию — перестают быть противоположностями. Это та точка, в которой, согласно Николаю Кузанскому, была сотворена вселенная. Эзотеризм и марксистский материализм были двумя крайностями сюрреализма. Их преодолевало искус-



ство, стремившееся к высшей точке, где сфокусирована целостность мира (le foyer vivant de la totalite du monde), единого как во внешних проявлениях, так и в субъективных глубинах сознания, целостность, которая объемлет пространство и время, а значит — не может быть познана извне пространства и времени. «Эта доктрина высшей точки, стремление ее достигнуть — придают сюрреализму исключительное положение среди атеистических философий. Они составляют также принципиальную разницу между сюрреалистической космологией и космологией ницшеанства, ибо последняя циклична и навеки подчиняет человека мучениям космического круга».

На картине Сальвадора Дали жирафа горит. При этом она стоит удивительно спокойно и горит удивительно декоративно — орнаментальными, ритмично взвивающимися языками пламени. В стихотворении Гроховяка тоже горит мясо. Это могло бы указывать на жертвоприношение. Мясо испепелено, место кремации — «жертвенный костер». Так жгут останки. Однако здесь сожжению подвергается живое тело (испеченное, оно вызывает потребительские ассоциации). Так сожжение заживо выявляет «мясистость» человека. Оно позволяет (эллиптически) редуцировать его к мясу. Страдающему мясу. Впрочем, вопреки однородности картины сожжения, у субъекта, провозглашающего манифест, возникают также иные образы. С мясом производятся следующие манипуляции:

*Уйти за мясом Дойти до мяса
Возделать мясо Разделить мясо
Облапить мясо Облать мясо
Утроить мясо Угробить мясо*

Мясо покупают и разделяют — возникает ассоциация с мясницким цехом. (Мы помним: мясник, как и парикмахер, ассоциируется в поэтическом мире Гроховяка с жестоким божеством.) Прежде чем мясо купят, оно должно быть разделано, а еще раньше — умерщвлено.

До этого мы имели дело с мясом животных, теперь — отступая — входим в область человеческого. Умерщвлению предшествует необходимость «облапить» мясо. Тут могут возникнуть разные коннотации, в том числе эротические (выражаясь осторожней — эротический оттенок; как в стихотворении Ясенского «Мясо женщин»). Присутствуют здесь и инфинитивы «возделать», «утроить», «облать». Эти действия, применительно к мясу (даже к слову «мясо»), сообщают ему нечто «человеческое». Поэтому если ряд глаголов начинался с действий, связанных с мясом животных, обреченных на съедение человеком (покупка, разделка), то кончается он полной «гуманизацией»: «угробить мясо». «Гробят» (а также кладут в гроб и погребают) обычно только людей. Так строфа, содержащая перечисление манипуляций, становится антропологическим трактатом, спрессованным в таблетку. Мясо, которое погребают, требует защиты.

На картине Дали МЯСО ГОРИТ. Однако в антропологической реальности стихотворения оно не только горит, а и разлагается — исключительный случай в поэзии Гроховяка (Оно / Не остынет / Ни в спирте / Ни в соли / Горит / И гниёт / Осыпаясь от боли). Ибо сожжение не дает искупления. Кремация не умещается в нашей позитивной эсхатологической системе. Сожжение заживо невозможно радикально отделить от того, что ему предшествует, от более ранней стадии процесса умирания. Попробуем прояснить это, вернувшись к описанной в «Карабинах» сцене сожжения людей заживо. Это необычайно важная сцена.

Приговоренные здоровы, они ждут. «Побледневшие, да что я говорю: покрытые синими пятнами распада, который всегда предшествует смерти, они смотрели на меня, как на стенку напротив. Еще никогда я не видел столько ада в лицах людей, к которым пришел с Богом».

Распад, ускоренный страхом, происходит при жизни. Затем показана казнь, преобразившая ксендза Бруно: присутствуя при ней, он утратил веру. Казнь носит ритуальный (дьявольский) характер, в ней повторяется магическая семерка.

«На рассвете дверь отворилась и нас вывели на снег. Вид, открывшийся перед нами, был столь неправдоподобен в своем кошмаре, что загнал приговоренных обратно в сторожку. Однако пришлось выйти, пришлось подойти к семи кострам, разожженным под семью соснами; им скрутили руки и за руки живьем подвесили над кострами. Я смотрел, как тает снег. (...) Никто не призывал Бога. Абсолютно никто. Я вполне понял это лишь тогда, когда заметил, что и я Его не призываю. Становилось тише и тише, и чем было тише, тем глубже было безразличие, охватившее все вокруг».

Ксендз Бруно во многом может восприниматься как porte-parole автора. И в то же время лишь после этого акта инициации Бруно способен предаться чувственным удовольствиям с полным удовлетворением и одобрением. Он открывает иной мир, позитивно открывает собственную телесность, чувственность: кусает хлеб, пробует пальцем острие ножа, прикасается к двум девушкам-толстушкам. И эта плоть, это мясо подлечит одобрению, обретает ценность: становится важным — как важен человек, его субъективное «я». «Но я спрашивал себя, могло ли бы это мое вновь открытое тело стореть, как стружка, ничего после себя не оставив». Могло бы, нет никаких сомнений.



Годы спустя больной, ставший на двадцать лет старше Гроховяк счел свое стихотворение «Горящая жирафа» проявлением жестокости, вызванной юношеской горячностью, отсутствием опыта брэнности собственной жизни, отсутствием «реалистического» опыта собственной телесности (а не ее экзистенциальной проекции). В год своей смерти он говорил в телестудии: «...это юношеское стихотворение, написанное из духа противоречия, и если я нахожу в нем какое-то обаяние, то именно обаяние юности. Сегодня я не мог бы написать так жестоко, тогда смог».

Ксендз Бруно — проекция авторского «я», подобная «костяку человечьего страха», изображенного по мотивам Дали в «Горящей жирафе».

Присмотримся еще раз к трем планам образа. На переднем плане — две высоких фигуры, «убогий костяк человеческого страха», хотя в стихотворении это определение относится к жирафе. Она стоит на втором плане, с пламенем вдоль гривы и клубами дыма. Тогда как фигуры на переднем плане экспрессионистически изогнуты, буквально опредмечены и подвержены распаду (правая ладонь более высокой фигуры лишена кожи, обнажена кровавая сеть сосудов), жирафа стоит спокойно, словно пламя не причиняет ей боли, словно это всего лишь накладной орнамент.

Спокойней и мягче всего — задний план: желтый, светящийся человек и в глубине гора с оранжево-золотой, вьющейся дорожкой, устремленной к вершине.

Таким образом, от переднего плана к заднему происходит успокоение, и это — учитывая, что перед нами все же сонное видение культуры, — путь от непосредственного переживания экзистенции к символам единения с целым.

А если спросить: где тут истина, что тут важнее всего?.. Название говорит, пожалуй, о том, что важнее всего средний план: на нем жирафа. Однако Гроховяк был поэтом контрастов. И не то, что посредине, было для него — в тот период — самым важным. Независимо от того, двигаться ли от переднего плана к третьему или наоборот, распределение ценностей — иное. Самое важное, самое ценное — на переднем плане, телесном, жестоком плане человеческой боли, и на заднем плане, в метафизической глубине: желтая гора и желтый человек.

Травестируя картину Дали, Гроховяк использовал характерный прием: он контаминировал фигуры переднего плана с жирафой, тем самым перенес ее на передний, драматически экспрессивный план, а задний план просто опустил. Это был действительно юношеский прием. Уже через несколько лет поэт, пожалуй, не смог бы этого повторить.



Станислав Гроховяк
Одна из последних фотографий

Из книги «Grochowiak i obrazy», изд. Вроцлавского университета



Александр Юревич

Перевод
Марины Курганской

ПОДЛИННАЯ БАЛЛАДА О ЛЮБВИ

Маленький мальчик лет пяти бегал по двору, выкрикивая нараспев своим детским голоском: «Эй, вы, гуси, до свидания, прилетайте к нам опять...», а ветер раздувал воротник его матроски, словно хотел помочь ему подняться высоко в небо и присоединиться к клину диких гусей. Нина не узнавала этого двора; сначала ей показалось, будто это их двор, но внимательнее всмотревшись в запотевшее окно, она поняла, что место ей незнакомо, а мокнувшая на плетне льняная скатерть, с которой стекают ржавые струйки дождя, не может быть их скатертью. И в простенке между окнами, из которых она наблюдала за чьим-то чужим мальчиком, не было образка Остробрамской Божьей Матери. И колодец был не такой, как у них. А дикие гуси, услышав призыв ребенка, спустились из-под облаков и принялись кружить над двором.



«Чей этот белоголовый мальчик, и откуда он здесь взялся? Или он мне чудится? Вроде бы я его уже где-то видела, на какой-то фотографии, или только должна с ним однажды встретиться, а может, я никогда его больше не увижу?» Вдруг он куда-то пропал, и теперь до нее доносилась лишь его песенка, которая неожиданно стала переходить в пронзительный плач. Нина хотела выбежать из комнаты и найти плачущего, чтобы утешить его или хотя бы вытереть ему слезы, но не могла сделать ни шагу по вязкому полу, который проваливался под ногами. Окна покрылись черной копотью, и она слышала только, как глухо гудит ветер в печной трубе, вернее, мчит с грохотом скорый поезд, чьи колеса стучат на стрелках, или это пронзительный клекот пылающих под небом птиц, или ее собственный крик в каком-то неведомом будущем.

Она не решалась открыть глаза, боясь пережить еще раз наяву то, что скорей всего ей просто померещилось в горячке, которая пока не отступила и от которой влажной была постель и оставались мокрые следы на стене — там, где ее касалась слабая рука. Нина слышала, как шумят дети на спортивной площадке у школы, но знакомого голоса из ее то ли сна, то ли видения в этом гомоне не было, скрипел колодезный журавль, и отчаянно голосил петух. В памяти начали всплывать обрывки ночных причитаний по покойнику, картины встреч у реки, вспышки быстро гаснущих в темноте огоньков. На сухих обветренных губах она ощутила холодные стеклянные крошки.

Под окном, на клумбе, где были срезаны мальвы, она заметила отпечатки его башмаков и несколько сгоревших спичек. На стекле еще поблескивали следы от его ладоней и закорючки едва различимых букв, тающих на осеннем солнце. Теперь она убедилась, что он все же был здесь той ночью и что он уже вернулся. Вдруг он пытался написать, где и когда будет ее ждать, а она ничего не может сделать, ей остается только беспомощно смотреть на то, как испаряется на солнце их несостоявшаяся встреча. Она водила пальцами по стеклу, надеясь, что сумеет хоть что-то разобрать или догадаться о месте свидания. А вдруг он написал, что приходил просто взглянуть на нее, пусть даже при свете мгновенно гаснущих на ветру спичек, и потом сразу уехать восвояси?

Дом органиста казался покинутым и забытым, будто выгоревшим изнутри, хотя все вроде бы шло по-прежнему: из приоткрытого окна высовывался край занавески, вороны на время исчезли, чтобы на закате вернуться и вновь занять свои привычные места, пара галок сидела на печной трубе, из которой лениво поднималась струйка дыма, а на плетне, как и вчера, сушились глиняные кувшины. Глядя на опустевшее неделю назад гнездо аиста, она подумала о летящей где-то над земными просторами птице, которая, наверное, не переживет печали, вернувшись по весне в свое гнездо. Крышка гроба, прислоненная к стене дома, была красноречивее всех слов, молитв и слез. Нина представила, как на воскресной службе вместо осиротевшего и замолкнувшего органа зазвучит неудержимый хоральный плач.



Это невозможно было постичь: ведь еще вчера днем он заходил к ним, чтобы сказать, когда будет завтрашня — то есть уже сегодняшняя — репетиция хора, а меньше, чем через два часа...

Она как раз собирала в саду яблоки, и ей никак не удавалось избавиться от того чужого, колючего взгляда — точно не чьи-то живые глаза скользнули по ней, а она по собственной неосторожности зацепилась за куст дикого боярышника. Холодные острые шипы проникали в нее отовсюду: и с лучами осеннего солнца сквозь редующие с каждым днем листья на ветках, и из трещин на яблоках, которые она складывала в связанную в узел шаль, и из жемчужного следа, оставленного улиткой на садовой дорожке. Внезапно душераздирающий женский крик разнесся над деревней, и Нина, замерев от ужаса, рассыпала свои яблоки. Вспугнутые воробьи, вспорхнув из-под стрехи, забились в пустые ласточкины гнезда, ошалев от страха. Отчаянный крик, вызывающий о помощи, не утихал, а делался все пронзительнее, поэтому Нина, топчя раскатившиеся под яблоней антоновки, бросилась туда, откуда он слышался.

Добежав до калитки дома, где жила семья Ромейко, она остановилась: у крыльца, бестолково суетясь, склонилось несколько мужиков, а возле них металась и голосила жена органиста, которая то бессильно воздевала руки к небу, то рвала на себе волосы. Рядом со скамейкой, на которой, бывало, сживал органист, валялась газета, и невидимка-ветер трепал ее страницы, словно никак не мог отыскать нужной. У дома и плетня народу все прибывало, завывли собаки — их тревожный вой передавался от двора ко двору, как огонь от свечи к свече.

— Вставай, Людвик! Вставай, ради Бога! — стонала с угасающей надеждой в голосе его жена, которую поддерживали под руки соседки, утешая напрасными словами. — Господи Боже, что же ты, Людвик, надумал!

Кто-то вынес из дома простыню, ее расстелили на траве; мужчины подняли Ромейко и положили на льняной свеженакрахмаленный саван. Во внезапно повисшей тишине с далеких лугов донеслось курлыканье журавлей — а может, это была песенка дурачка Антошки, — но Ромейко продолжал лежать неподвижно. Тогда мужчины ухватили простыню за концы и сперва тихонько, а потом сильнее, но с какой-то богобоязненной осторожностью, начали качать покоящегося на ней органиста, думая, что им удастся заставить вновь биться остановившееся сердце.

Ромейко поднимался и опускался — он, должно быть, чувствовал себя как во младенчестве, когда его убаюкивали в белой колыбели в майском черешневом саду или зимним вечером у жарко натопленной печки. И стоящие вокруг люди затаили дыхание, напряженно следя глазами за движением полотна, а вместе с ними застыли в ожидании придорожные клены с пожухлой листвой, прервали свой бег облака; даже улетающие птицы махали крыльями в полном молчании, спустившись низко над двором, будто хотели заглянуть Ромейко в приоткрытые глаза или пропеть ему на ухо заклинание, чтобы он ожил. Но органист не хотел видеть ни осенних листьев, ни последних облаков, не хотел смотреть птицам в глаза. Теперь он хотел только облегчения, успокоения, долгого сна.

— Водой, полейте его водой! — крикнул от плетня старый Лапян, когда простыню опустили обратно на траву.

Нина смахнула со щеки паутинку бабьего лета. В этот момент из дома органиста донесся звучный металлический бой часов, но вдруг оборвался, не отбив положенного числа ударов, и кое-кто, тяжело вздыхая, перекрестился.

Неожиданно показался на велосипеде ксендз Гудейко, но, увидев собравшихся у дома людей, бросил велосипед на дороге и, протиснувшись сквозь небольшую толпу у калитки, вбежал во двор.

— Разбудите его, — завывла жена Ромейко, падая перед ксендзом на колени. — Будите его, скажите, что пора идти играть на органе!

Ксендз опустился на колени возле своего органиста, осенил его крестным знаменем и закрыл ему до конца глаза. — *Отче наш, иже еси на небесех...* — начал он срывающимся голосом; присутствующие тоже встали на колени, повторяя за ним молитву, а Ромейко лежал,





точно он на маевке, на белоснежной простыне, внимая знакомым голосам соседей и словам, которые слушал всю жизнь. И ветер махал ему на прощанье, шелестя недочитанной газетой. Зазвонил костельный колокол; под эти звуки органиста подняли на простыне и понесли в дом. — *«И вечный свет его сияет во веки веков...»* — прошептала Нина сквозь слезы вслед за другими и в последний момент, прежде чем печальная процессия исчезла в сенях, успела заметить (или ей это лишь почудилось), как на стертых подметках башмаков органиста заиграл догорающий лучик света.

Скрипнула дверца шкафа. Обернувшись, Нина увидела мать, которая что-то искала среди платьев, поношенных жакетов и отцовых рубах. Она по-прежнему напевала какую-то из заубойных песен, что пели ночью, как бы желая передать свою скорбь всему вокруг: и одежде на вешалках, и сложенному на полках белью, и старым сумочкам, и шарфам, и даже наглотавшейся нафталина моли, — ведь и им довелось хоть раз встретиться с Ромейко или услышать его изумительный орган.

— Почему ты опять стоишь у окна? — упрекнула ее мать охрипшим от отпевания голосом. — Хочешь еще разок простудиться и совсем расхвораться? Кому это нужно?

— Я только хотела взглянуть на дом Ромейко. Чтобы понять, как выглядит дом на следующий день после смерти человека, который в нем жил. Наш кот чуть ли не полночи просидел на подоконнике, словно все ждал кого-то.

— Ты не видела мой черный платок? Наверное, надо помолиться, тогда он сам отыщется.

В зеркальной дверце приоткрытого шкафа мелькнул будто кто-то знакомый, и Нина проворно подбежала к окну. По переливающейся серебром узорной шали она узнала вчерашнюю женщину. Та шла по обочине дороги с буханкой хлеба в руке, и весь вид ее говорил о желании остаться незамеченной. Она то и дело поправляла сползающую с головы шаль и, минуя дом Ромейко, даже не посмотрела в его сторону.

— Мама, кто она? Я второй раз ее вижу. Какая-то чужая?

— Разве ты ее не знаешь? — мать недоверчиво покосилась на нее. — Ведь это жена нашего нового начальника. Ты в самом деле не знала?

— Странная она какая-то, — Нина проводила глазами удаляющуюся фигуру, чувствуя, как теплеет ее взгляд; она даже что-то родное сумела найти в движениях уже пропавшей из виду женщины.

— Ничего странного в ней нет, — отмахнулась мать. — Просто она не наша. Вот и вся странность...

— А что значит «не наша»?

— Вот что, Нинка, ты поищи-ка лучше мой платок, а я буду варить бульон, завтра соберутся у Ромейко на похороны и кто-нибудь наверняка завернет и к нам.

Оставшись в комнате одна, Нина вернулась к окну в надежде, что мать Михала забыла что-нибудь купить и пройдет здесь опять. «Значит, она его мать, — девушка старалась это осмыслить. — Я как-то ни разу не подумала о том, чтобы с ней встретиться. Кажется, вообще упустила из виду, что у него есть близкие, хотя он говорил мне о матери тогда, у реки. И тот ее вчерашний взгляд, точно она знала, кто я, и хотела меня остановить, что-то сказать или спросить. А я приняла ее за цыганку, которая бродит от двора к двору, предвещая конец света, и все ее гонят прочь. Теперь-то я знаю, кто она, только как мне поступить, когда мы снова случайно встретимся...»

Она уже собиралась закрыть шкаф, как на внутренней стороне дверцы, среди ходов, проделанных жучком-древоточцем, заметила тусклые карандашные отметки, на которые давно не обращала внимания, а может, и совсем забыла о них. Среди разных дат, инициалов и полустертых букв она разглядела две колонки черточек, нанесенных почти рядом карандашами двух цветов, и сразу вспомнила, что они обозначают. Всмотревшись, она обнаружила еще одну колонку, которая обрывалась, едва начавшись. Там были три горизонтальные отметины в самом низу, едва различимые, словно само движение времени стирало их. Она склонилась над этим единственным слабым следом, оставленным на земле Олесем, если не считать маленького холмика на кладбище. Только-то и осталось от него — три маленькие черточки, ни четвертой, ни последующих он не дождался. Судя по соседним пометкам, которые относились к ней самой, Олесю не доходил ей до пояса — правда, в какой-то момент ее рост перестали измерять, и лишь Терескину последнюю отметку сделали, должно быть, совсем недавно. «Может, это



Олесь приснился мне под утро, мой незнакомый братик, бегущий за дикими гусями?» — подумала Нина, покачивая дверцами шкафа и не решаясь их закрыть.

На полу кухни блестели красные капли, ведущие в сени, будто кто-то растоптал ягоды рябины. Нина качнула низку сушеных грибов, висящую над кухонной плитой, и улыбнулась своему воспоминанию. В сенях на лавке лежала курица с отрубленной головой — из ее шеи, как с обломанной ветви рябины, падали красные бусины и разбивались о выложенный кирпичом пол.

— Ночью столько яблок в саду нападало, — мать подала ей корзину. — Я уж собиралась сама пойти пособирать.

— Это, наверное, дух органиста во всех садах яблоки обтрусил.

— Он даже оставил следы в нашем саду, этот дух, — мать со значением посмотрела на Нину.

Сад был устлан созревшими плодами, как ковром, вытканым яблоками по фиолетовой основе потрескавшихся слив и украшенным там и сям рдяным бочком поздних груш. Собака носилась, облаивая каждый уголок сада, и вдруг застыла как замороженная, уставившись в одну точку. Нина сделала несколько боязливых шажков, но там оказался всего лишь колючий клубок ежа, с которым пес Бенья не знал, как себя вести.

Она без труда нашла яблоню, которая отныне всегда будет для нее связана с тем солнечным сентябрьским днем, — Нина не сомневалась: стоит ей очутиться здесь или взять в руку спелое антоновское яблоко, как у нее сразу возникнет тревожное чувство, что сейчас раздастся чей-то отчаянный крик. И теперь это ни в чем не повинное дерево неизменно будет вызывать в ее памяти голос органа, умолкнувшего в их костеле.

Над двором поднимался белый пух как напоминание о первом снеге. Поднимался белый пух.

Отрывок из книги. Краков, «Знак», 2003



Александр Юревич родился в 1952 г. в белорусском городе Лида, но еще в детстве переехал в Польшу. Он принадлежит к числу тех писателей, которых обычно относят к поколению «новой приватности», — таких как Стефан Хвин, Павел Хюлле или Антоний Павляк. С самого начала Юревич связан с гданьской литературной средой, которая принципиально отвергла созданную «старшими братьями» (прежде всего «поколением-68») литературу с сильным общественно-политическим уклоном, где главным героем была группа. Дебютировал он в 1974 г. поэтической тетрадью, прилагавшейся к варшавскому журналу «Новый выраз». Спустя три года вышел сборник его стихов «С другой стороны», посвященный прежде всего личным, интимным проблемам.

В 80-е годы Юревич, как и многие его ровесники, включился в движение «Солидарности», а затем, в годы военного положения, печатался в самиздате. Был одним из основателей и редакторов подпольного ежеквартальника «Подпункт», сотрудничал также в эмигрантских журналах, в частности, в лондонском «Пульсе».

Переломным моментом в его творчестве стали 90-е годы. Изданная в 1990 г. поэтическая микроповесть «Лида» — поэма о потерянном рае детства — была высоко оценена критикой и удостоилась личной премии Чеслава Милоша. К той же проблематике обращается следующая микроповесть «Бог не слышит глухих» (1995). В 1998 г. Юревич опубликовал сборник мини-эссе «Жизнь и лирика», а в 2002-м — очередную микроповесть «Настоящая баллада о любви».

Л.Ш.



Анджей Литворня

Перевод
Натальи Горбаневской

ДОМ ХЛЮСТИНЫХ

Глава 3 части III («Среди русских друзей»)
из книги «Рим Мицкевича. Поэт на берегах Тибра. 1829-1831»

Дольше всего испытание временем выдержала дружба Мицкевича с богатой вдовой Верой Ивановной Хлюстиной, урожденной Толстой (1781 или 1783-1878), сестрой Федора Ивановича Толстого, знаменитого дуэлянта, с которой он познакомился у княгини Зинаиды Волконской в конце 1829 года. Вера Ивановна Хлюстина путешествовала по Европе с двумя детьми: Анастасией Семеновной (1808-1863) и Семеном Семеновичем, на два года младше сестры, который несмотря на юный возраст уже прошел русско-турецкую кампанию 1828-1829 гг., а теперь, выйдя в отставку уланским поручиком, сопровождал мать и сестру. На страницах «Писем из путешествия» Антония Одынца времен пребывания Мицкевича в Риме Анастасия появляется чаще всех из троих Хлюстиных. Салонный сплетник, который отлично знал предпочтения своих читательниц, писал о впечатлении, которое производила Анастасия Хлюстина на гостей салона Зинаиды Волконской:

Когда мы приехали, она болела, но в первый же день мы раз десять услышали от княгини Зинаиды и ее сестры: «A! Quel dommage, qu'Anastasie n'est pas avec nous!» [Ах, как жаль, что Анастасии нет с нами!] — и что она не может сразу познакомиться с Адамом. И при первом же визите семейству Анквичей и сама госпожа Анквич, и ее дочери спрашивали меня и удивлялись, что мы еще до сих пор не знаем панну Хлюстину. Шевырев говорит о ней с восторгом как о ценительнице поэзии.



Стшелецкий — с восхищением о ее археологических познаниях, господин Ризчи восторгается ее музыкой, Брюллов просит у нее совета касательно планов своих будущих картин, а о старом Торвальдсене говорят, что он формально в нее влюбился, как и 96-летний женеvский философ Бонштеттен, который специально ради нее приехал в Рим. Обо всем этом мы слышали постоянно. Так кто же эта чародейка? эта Муза, девять раз одна? эта как будто новая Сафо или Коринна? — которой соотечественники дали как раз это имя: «Коринна с Дона» (Corinne de Tannaïs), ибо она жительствоует в Тамбовской губернии.

В этом риторическом описании, выдержанном в преувеличенных тонах, Одынец хорошо передал личность самой Анастасии Семеновны, благородной снобки, ученой женщины и космополитки, которая «увлечена науками и изящными искусствами, а прежде всего — маэстро их, прославленными людьми», они же с полной взаимностью ...влюблены в нее или так ею восхищаются, что не осталось почти на материке Европы прославленного поэта, ученого или художника, который не состоял бы с ней в переписке. И вот эта панна Анастасия, как нам говорили, пылала лихорадочным желанием познакомиться с Адамом, о котором уже столько слышала.

Встреча произошла в середине декабря, разумеется, в салоне княгини Зинаиды Волконской, которая прислала Мицкевичу записочку: «Приходите, пожалуйста, ко мне на обед: у нас будет Анастасия». Одынец опасался, что

...синий чулочек (bas bleu), должно быть, у нее из-под котурна выглянет. Между тем совершенно наоборот. Она так полна натуральности и очарования, как будто вовсе (как некогда великие рыцари) не имела дела с книгами. Да и правда, что о самих книгах или картинах она почти никогда не говорит, а важен ей прежде всего источник всех искусств и книг — человеческая мысль и дух.

Описывая первое впечатление, которое она произвела на обоих мужчин, Одынец пишет:

...если бы мы не познакомились раньше с Генриэттой [Анквич] и если бы не слышали раньше ее музыку, то Бог весть что могло бы случиться. Достаточно сказать, что Адам, несмотря на то, что а priori вооружился, тоже подпал под очарование этой новой Армиды, чему немало способствовало то, что она ему не сказала ни слова комплиментов, о поэзии не упоминала, а только dans toute la maniere d'être



[всем своим поведением] позволяла угадать впечатление, которое произвели на нее знакомство и разговор с ним.

14 декабря Анастасия Семеновна записала в свой дневник:

Познакомилась с польским поэтом, которого Семен уже видел раньше. Это польский Байрон, мы разговаривали о литературе, и признаюсь, что вечер прошел для меня приятно между искусством и литературой. Ни в какой стране терпеть не могу избитых банальностей, но совсем непростительны они в Риме, где всякий ум находит столько предметов для разговора.

А четыре дня спустя, чтобы развеять в себе всякие сомнения, прибавила: «Вчера поэт Мицкевич восхитил своим остроумием».

Разумеется, она произвела впечатление на Мицкевича — трудно, однако, заподозрить его в чем-то большем, нежели салонное ухаживание в рамках условностей, сознательно одаряющее русскую барышню комплиментами и удовлетворяющее ее светские ожидания. Серьезные чувства не могли входить в расчет, и не только потому, что поэт успел раньше познакомиться с панной Анквич, но и по причинам, можно сказать, принципиальным. Юзеф Пшецлавский, который в 1828 г. в Петербурге встречался с Мицкевичем почти каждый день, привел слова, которые поэт сказал ему о своем тогдашнем романе с Екатериной Михайловной Бакуниной. Поэт говорил, что она очень мила и что он был бы готов даже просить ее руки, если б не одно препятствие:

Что сказали бы обо мне поляки, если бы я женился на русской, дочери сенатора, родственнице великого Кутузова и одного сенатора? Каждый поляк считал бы, что мной руководили низкие и подлые побуждения. Я не имею права унижать себя таким образом, так как причинил бы ущерб своему народу. Впрочем (тут он улынулся), зачем я тебе это говорю: я же даже не знаю, приняла бы панна Бакунина мое предложение.

Mutatis mutandis, даже если слова, сказанные за год до Рима, трудно считать вполне достоверными (не забудем, что свидетельство опубликовано только в 1872 г.), в такие аргументы поверить легко. Потому-то русские женщины не сыграли особой роли в жизни Мицкевича, в его эмоциональных и матри-мональных планах, и отношения с ними не выходили за рамки более или менее безопасных ухаживаний, не всегда, кстати, завершавшихся идиллически. Пожалуй, и Хлюстина, богатая аристократка из рода графов Толстых, видела в Мицкевиче скорее интеллектуального партнера — еще одну знаменитость в коллекции друзей и знакомых.

Во время карнавала они бывали по вечерам на одних и тех же балах и приемах, а о том, как они проводили утра, Анастасия Хлюстина писала в дневнике 5 февраля 1830 года:

Утра мы проводим очень приятно. Ходим с Мицкевичем и г-ном Дюби по виллам и галереям, я служу им чичероне. Вчера день провели с большой пользой. Сначала выслушали проповедь о Жабело, доминиканца. (...) Оттуда пошли осматривать этрусские сосуды и драгоценности, которые нашел при раскопках Люсьен Бонапарт, некогда республиканец, а ныне римский князь. Это предметы еще более древние, чем из Помпеи, так как происходят из этрусского города (...). Наше утро закончили на виа Аппиа — этой оживленной дороге, никуда не ведущей. Только следы иностранцев, восхищенно разглядывающих гробницы (...). Вечером мы отправились к графине Лощано слушать прекрасную музыку и глядеть на довольно интересную вещь: итальянское общество и итальянку в роли хозяйки дома. (...) Лучше узнала польского Байрона. Читала перевод его сочинений. Я нахожу их не менее поэтичными (чем у Байрона. — А.Л.), но они больше трогают сердце. Они захватывают меня, уносят ввысь. Если судить об авторе по характеру, который он дал своей героине, то Мицкевич был бы ангелом. Альдона в «Валленроде» совершенно божественна, в ней нет ничего человеческого.

В месяцы после карнавала 1830 г., а особенно великим постом, когда погода улучшилась настолько, что даже «Диарио ординарио ди Рома» об этом сообщил, Мицкевич начал интенсивно осматривать античные памятники Рима, по-прежнему чаще всего в компетентном обществе Анастасии Хлюстиной. Только около Пасхи ее место начала занимать Генриэтта Эва Анквич. Дошло почти что до соперничества между двумя барышнями в деле осмотра руин. Своеобразное тому доказательство — сообщение о пребывании поэта в Риме, которое выслала в польскую печать сама панна Анквич. Там есть предложение, которое не выглядит вполне бескорыстным:





Мицкевич по-прежнему в Риме, его часто можно видеть прогуливающимся со знаменитым американским писателем [Джеймсом Фенимором] Купером, с российской литераторшей панной Хлюстиной. Там сейчас исключительно много поляков.

Из этого можно понять, что поэт предпочитает осматривать древности с Хлюстиной и Купером, зато как будто избегает поляков, хотя их тут предостаточно. Однако светские, а прежде всего организационные возможности русской барышни в музейно-археологической области были куда больше. Благодаря бывавшим у Хлюстиных в доме итальянским друзьям ей вместе с узким кругом друзей удалось получить «разрешение (о котором нужно просить отдельно) осмотреть Ватиканский музей — при факелах». Однако, как пишет Одынец:

...[видя], что она уже пригласила на этот спектакль семейство Анквичей, я только добавил просьбу, не могу ли я привести с собой Гарчинского, Гаевского и Негоевского, которого я тоже очень люблю. Сам Висконти, самый знаменитый из ныне живущих итальянских археологов, должен был быть — и действительно был — нашим чичероне, и это благодаря старому Бонштеттену, ради которого панна Анастасия устроила весь этот художественно-эстетический праздник. (...) ...я дал бы что угодно, лишь бы ты из моего описания смог хоть раз, хоть как в замочную скважину, заглянуть в глубь одного из этих самых роскошных в мире так называемых *коридоров*, а на самом деле зал или галерей безмерной длины (из которых состоит весь этот музей), опирающихся на ряды колонн из самого дорогого мрамора, порфира, алебастра, выложенных мозаикой, сведенных в единое целое шедеврами живописи в золотых рамах и заполненных по обеим сторонам не поддающимся исчислению множеством статуй, бюстов, памятников и всякого рода шедевров скульптуры. Только тогда ты смог бы, пожалуй, понять, какое колдовское впечатление могли произвести вход и шествие по этим, кажется, неземным зданиям, погруженным в темноту и ночную тишину и освещенным только красноватым заревом цепочки факелов, в котором белые фигуры и лица статуй появлялись и исчезали как призраки. (...) было нас двадцать с чем-то (...) мы собрались на так называемом Бельведерском дворе, с великолепным портиком вокруг (...) когда мы углубились в бесконечный лабиринт коридоров и три с лишним часа оставались на ногах, то в конце концов чувствовали себя усталыми. (...) А тем временем неутомимый Висконти каждую минуту останавливал нас перед любым амурчиком.

Отвлекаясь от некоторых неточностей, таких, как сомнительность присутствия Бонштеттена в Риме в то время или неточные названия некоторых скульптур (позтому в вышеприведенной цитате это опущено), все-таки следует признать, что ночное посещение Бельведера, музея Пиум Клементинум, галереи Кьяромонти и воздвигнутого Кановой т.н. Браччо Нуово, т.е. самого нового тогда крыла папских музеев, было развлечением, которое даровали только особым гостям, к тому же необычайно редко. Достаточно вспомнить, что следующее такое посещение организовали в 1846 г. по случаю приезда Николая I.

Археологом, который водил избранное польско-русское общество в среду 31 марта 1830 г. по ватиканским музеям, был наверное Филиппо Аурелио Висконти (1754-1831), сын Джованни Батисты и брат самого знаменитого из всех троих римских античников Висконти — Эрмио Квирино. Его отец и брат в 1782-1792 гг. издали шесть томов ин фолио «Описания музея Пиум Клементинум», а он сам вместе с Джузеппе Антонио Гваттани в 1897-1808 гг. завершил этот монументальный, полный репродукций — гравюр на меди (428 таблиц!) каталог ватиканских собраний, выпустив два последних тома, посвященных галерее Кьяромонти. В 1810-1826 гг. в соавторстве с Джузеппе Валадьере и Винченцо Феоли он опубликовал также восемь графических папок ин фолио, где 64 гравюры на меди изображали античные здания Рима и окрестностей. Это издание стало аналогом вышедших на полвека раньше «Римских древностей» Джованни Батисты Пиранези. Филиппо Аурелио был секретарем Папской археологической академии, а с 13 января — коадьютором Гваттани, президента этого уважаемого учреждения, и вдобавок еще президентом Академии изящных искусств, или Академии св. Луки. Таким образом, тот из Висконти, в ведении которого находились ватиканские археологические собрания, мог устроить подобное развлечение.

В Страстной понедельник был устроен также поход с факелами с осмотром Форума и Колизея, а на следующий день — экспедиция в руины античной Остии. Возможно, к одной из этих вылазок относится недатированная записка поэта, в которой он, отвечая на две записки Анастасии, заявляет:

Что касается прогулок, пеших или конных, на суше или на море, я всегда к Вашим услугам. В полдень приду за приказами.



Подобных вылазок, хотя и более скромных, было еще несколько. Так, 13 марта, перед посещением ватиканской базилики, осмотром ее священных пещер и прогулкой по папским садам они побывали в доступных публике залах Ватиканской библиотеки. Одынец откровенно писал, что этот поход его утомил:

В библиотеках я как баран или теленок: настораживаю уши на то, что меня не интересует, тарашу глаза на то, что меня не волнует, а из вежливости изображая интерес, скучаю и мучусь.

Анастасия кроме того ввела обоих поляков в дружественные ей салоны пребывавших в Риме знаменитых иностранных семейств. Из ее дневника следует, что она представила Мицкевича леди Гамильтон и леди Рассел, что благодаря ей поэт ближе познакомился с княгиней Александриной Дитрихштейн, урожденной Александрой Андреевной Шуваловой, приезжавшей из Вены каждую зиму в Рим. У нее, как пишет Одынец, они были на большом завтраке с блинами в воскресенье 14 февраля, а в понедельник 29 марта 1830 г., после воскресного музыкального вечера в семействе Семеновых, Мицкевич, несколько *polens volens*, читал у княгини Дитрихштейн французский перевод «Фариса», сделанный Зинаидой Волконской. Все начинания Анастасии Хлюстиной всегда протекали на высшем светском уровне, и противиться им было трудно.

В начале мая Мицкевич и Одынец встретились с Хлюстиными в Неаполе, и на этот раз в археологически-туристических экспедициях участвовал главным образом Одынец, так как Мицкевич, по моему мнению, решил старательно соблюдать явно светскую дистанцию и такой же характер дружбы с Анастасией, то есть заботиться о том, чтобы знакомство не переходило принятых салонных границ. В то время он был всерьез заинтересован младшей из барышень Анквич. Поэтому он в одиночку поехал на Сицилию, да и в самом Неаполе ближе сжился тогда с братом Анастасии Семеном Семеновичем, в котором неожиданно открыл байронически бунтующего масона. Вместе с ним и Одынцом они совершили восхождение на Везувий и осматривали руины Помпеи.

На лето они планировали совместную с Хлюстиными поездку в Швейцарию. Встретиться они должны были по пути, во Флоренции, но на самом деле встретились только в Милане, где опять-таки обстоятельства привели к тому, что в Женеву Мицкевич и Одынец отправились отдельно от остальных. И там уже все вместе с тревогой следили за июльскими волнениями в Париже, откуда в Женеву приехал граф Адольф-Мари-Пьер де Сиркур (1801-1879), с которым Анастасия довольно неожиданно обручилась. Этот французский журналист, до недавнего времени секретарь премьер-министра королевского правительства Полиньяка, во время июльской революции, к счастью, не угодил, как его начальник, в тюрьму, но утратил все прежние перспективы блестящей карьеры. Теперь, оказавшись в Швейцарии, он быстро получил руку и сердце Анастасии Хлюстиной. Мицкевич в согласии с предписанными условностями изображал безутешного, а удивленный всем происшедшим Одынец комментировал все по-своему:

Любезность (...) (дома Хлюстиных. — *А.Л.*) по-прежнему та же самая, но присутствие жениха по многим причинам изменило ход вещей. Прежде всего есть уже такие предметы, которые всех в этот момент занимают сильнее всего, но которых по деликатности мы там касаться не можем, чтобы не оскорблять его политических чувств. Во-вторых, сама его личность уже такого рода, что невольно отнимает свободу в общении. (...) Все у него размерено и взвешено. Каждое слово — как сосчитанное зерно, ни одного не пустит на ветер. Адама это раздражает и заставляет скучать. (...) Даже в здешних обществах, в которые нас ввела панна Александра и куда нас с ней вместе приглашали, влияние этого ее «прибочника» (*ad latus*) совершенно меняет прежние с ней отношения.

Молодые венчались в Женеве по-католически, в Берне по-православному, а знакомство с Мицкевичем сохранилось, хотя уже в более серьезной форме, так как лицом, соединявшим их, отныне стала Вера Ивановна Хлюстина.

Беспристрастное мнение об этой русской семье оставил в письме к отцу от 22 октября 1830 г. Зигмунт Красинский:

Есть тут русское семейство Кустиных [так!]: мать и дочь, и брат. Очень милые, брат — человек обширных познаний и благородного сердца. Он гвардейский офицер-гусар и, хотя ему всего 21 год, прошел уже две турецкие кампании; очень любезный, милый и совершенно европейский человек, без предрассудков и ложных мнений, разве что, может, чересчур впадает в другую крайность.

С Семеном Семеновичем Хлюстиным, с которым они восходили на Альпы в обществе Зигмунта Красинского и его наставника Станислава Якубовского, Мицкевич встретился в Женеве еще раз, теперь уже по пути из Рима в Париж в мае 1831 года. Хлюстину угрожала ампутация ступни, которую



переехал дилижанс, и — подобно Красинскому, которого Якубовский насильно вывез в Швейцарию, — он прямо бредил самоубийством. В середине 1831 г., зная, каково состояние его духа, хотя и сам пребывал не в лучшем, Адам старался его утешить:

Знаю Вас как человека запальчивого и чересчур чувствительного, надо постараться успокоиться во имя любви к матери и сестре. Зачем терять или скорее разрушать надежду на более мирное будущее? Вы видите мир — я не сказал бы: в черном цвете, но зато в желтом, что может быть, еще хуже.

Вы не написали мне ни слова ни о Вашей матери, ни о сестре. Я имею право сердиться.

Однако черные мысли не оставляли Семена Семеновича — более того, при известии о поражении [польского] восстания и переданном ему Соболевским сообщении, что поэт находится в Дрездене, Хлюстин писал ему из Женевы 22 ноября 1831 г., полный горечи:

Это свидетельствует о непреодолимой невозможности добраться в Польшу. Умереть там было бы прекрасным, достойным Вас даром судьбы. Для нас жизнь — возможно, лишь выбор смерти. У Вас была почти рядом такая прекрасная смерть, но достичь ее Вам не удалось. Печально.

Годом позже этот бунтующий молодой человек вернулся навсегда в Россию, поступил на службу в Коллегию иностранных дел, а вдобавок чуть не стал деверем Пушкина, которого в 1836 г. искренне собирался вызвать на дуэль*. Умер он молодым, в 1844 г., на 34-м году жизни. Мицкевич послал в утешение его матери, жившей тогда уже в Париже, несколько мыслей, выбранных из посмертных сочинений Луи Клода де Сен-Мартен, в частности следующую:

Дурной христианин сгибается в несчастье и напоминает человека, который бы, упав в реку, ожидал, что река высохнет, чтобы поплыть, продолжая надеяться, что воды схлынут. Реку следует переплыть: так поплывем же.

Анастасия де Сиркур виделась с поэтом после его возвращения в Рим осенью 1830 г., а также после своего приезда туда весной 1831-го — той же весной, когда Мицкевич уехал в Париж. В марте 1834 г. ее ушей достигли тревожные известия о Мицкевиче. Она писала матери:

Кто бы сказал нам, что счастливые дни, которыми он тебе обязан, станут последними в его жизни.

Когда Целина [жена Мицкевича, урожденная Шимановская] и Мицкевич жили уже в Париже, Анастасия Сиркур прислала однажды письмо на почтовой бумаге с графской короной и монограммой «АС». В 1841 г. она несколько раз писала из Версаля, так как уже с марта 1835 г. поселилась с мужем в столице Франции, где устроила литературный салон. В 1837 г. и граф Сиркур после заграничных миссий и путешествий окончательно осел в Париже, и тогда Мицкевич начал бывать как у них дома, так и на спектаклях и концертах, на которые чета Сиркуров регулярно его приглашала.

Вера Ивановна тоже поселилась в Париже, но отдельно, не желая мешать дочери и зятю. Мицкевич сжился с ней прямо как с матерью и в 1838 г. пригласил ее в крестные к своему сыну Владиславу (крестным отцом был князь Адам Ежи Чарторыйский), что, как легко догадаться, у части эмиграции вызвало возмущение. Он старался по четвергам бывать у госпожи Хлюстиной на обедах; сохранилось несколько записок, которыми он извещал, что на этот раз, к сожалению, не сможет прийти. Анастасия Семеновна и друзья старались незаметно помогать поэту в его тяжелых материальных условиях, в том числе и при стараниях о получении им должности в Лозаннской академии, хотя граф де Сиркур всегда был в таких контактах помехой, и не только светской. В августе 1855 г. Анастасия Семеновна тяжело пострадала при вспыхнувшем дома пожаре — частично парализованная, она осталась прикованной к постели. Мы не знаем, бывал ли у несчастной графини поэт, после смерти жены занятый хлопотами и кучей детей. Вере Ивановне он уже из Константинополя 21 октября 1855 г. послал одно из своих последних частных писем. Она получила его десять дней спустя. В приветях, заключающих письмо, об Анастасии он как будто забыл — просил только передать приветы Сиркуру и Ипполиту де ла Во, одному из завсегдатаев этих четверговых обедов у госпожи Хлюстиной.

* С.С.Хлюстин был московским знакомым А.С.Пушкина и соседом Гончаровых по имению, но никаких сведений о том, что он сватался к одной из сестер Натальи Николаевны, мы не нашли. Дуэль в феврале 1836 г. действительно чуть не состоялась, а после благополучного принесения взаимных извинений уезжавший из Петербурга Хлюстин еще повез В.А.Соллогубу записку от Пушкина — тоже с вызовом на дуэль. — *Пер.*



Эдвард Бальцежан

ПОЗДНЯЯ ДРУЖБА

Памяти Анджея Литворни (1943-2006)



Говорят, дружбы завязываются только в молодости — моя дружба с Анджеем Ливорней родилась, когда ему года нехватало до 50-ти, а мне трех — до 60-ти. Мы выросли в разных частях страны. Я был учительским ребенком — он, что торжественно подчеркивал каждый раз, когда делал мне выговор за беспорядок в книгах или холодильнике, — сыном аптекарши. В мае 1961 г. Анджей сдал экзамены на аттестат зрелости — я защитил диплом. Из всего этого мы могли бы потом за рюмкой граппы сочинить небольшой миф, перевода метафизику случайности на метафизику дружбы, но я слишком поздно осознал эту возможность — слу-

шая прощальные речи на его похоронах.

Мы встретились в феврале 1967 г. в Полчине-Здрое. Серый, как гомулковская эра, дом отдыха принимал участников теоретико-литературной конференции младшего научного персонала факультетов польской филологии, которая стала одним из этапов методологического перелома. Я чувствовал себя союзником Новаторов, которые называли наследников компаративизма, биографизма, психологизма нелестным именем Архаистов, не имея, впрочем, в виду никого из присутствовавших в зале. А между тем они были среди нас — неопознанные, молчаливые. К негласной оппозиции принадлежал ассистент из Вроцлава Анджей Литворня. Высокий, распрямленный, он садился как можно дальше от трибуны, в конце длинного зала, не реагировал ни на наше актерство на трибуне, ни на «высокий полет» наших мыслей. Он только что закончил Вроцлавский университет (я завершал работу над кандидатской диссертацией). Однажды я подсел к мрачному верзиле, попытался шутливым комментарием вызвать его на обмен понимающими взглядами — ничего, никакого отклика, словно отлитый из чугуна.

Я промахнулся — он не чувствовал себя теоретиком литературы. Его поглощала нагруженная загадками литературная жизнь былых веков, встающая из гула истории. А я любил комбинации абстрактных понятий — правда, только тогда, когда они помогали мне описать возникающие в литературе напряженности. Сближение обоих подходов — с точки зрения здравого разума не антагонистических — в то время казалось невозможным.

В Полчин он приехал с коллегой и много лет спустя рассказывал мне, как в ночных разговорах они безжалостно нас «подытоживали». Тот, кто читал конкретность, поклонялся действительности, мог рассчитывать на их одобрение. Они не доверяли абстракциям, умственным спекуляциям, обещаниям без покрытия. Я вроде бы не был лишен надежды на спасение: «Бальцежан кое-что знает о поэтах, переводчиках, группах... хуже всего те, кто придумал «инструкцию по обслуживанию», лелеют ее, охраняют, но ни к какому миру отношения не имеют».

Надолго, на 27 лет, я потерял его из виду. Даже фамилию забыл! В 1994 г. итальянский славист Антон Мария Раффо предложил мне прочитать лекцию о польской поэзии межвоенного периода. В Италию мы поехали с женой автобусом, который с трудом продирался сквозь таможенные границы и апрельские дожди; на каждой остановке мы бежали к телефону, чтобы доло-



жить, что опоздание возросло еще на полчаса. Раффо успокаивал нас, инструктировал, одновременно переговариваясь с тем, кто ждал под пирамидой в Вечном Городе. Мы слышали голос профессора, о котором знали, что он поляк и что зовут его Анджей Ливорня.

С того дня доверие к его стратегическим способностям стало одним из самых надежных моментов в моей системе ценностей. Антон и Ендрек [уменьшительное от Анджей] хотели, чтобы я раз в год приезжал в Италию, обязательно в Удино, Флоренцию и Пизу, а если все пойдет хорошо, то и в Геную, и в Милан — словом, туда, где они могли рассчитывать на дружественные кафедры славистики, где у них были знакомые, готовые быть опекунами, гостеприимные квартиры польских и итальянских семей. Страхи путешествия нейтрализовало сознание, что Ендрек не подведет, обязательно появится на вокзале в Удино, проверит, где надо делать пересадку, снабдит картами, покажет скрытые от туристов дешевые ресторанчики, позаботится о гонораре, найдет свободное время, чтобы поводить по Венеции, Падуе, Чивидале...

Он стал нашим *учителем Италии*, одарял своим знаниями, любил ими делиться — и щедро — при всякой возможности. Не помню, чтобы какое-то старинное здание, которое мы видели из окон машины или поезда, обошлось без его комментария. Его обширное, из книг и по опыту, знание архитектуры, легкость проникновения сквозь шифры истории, начитанность в житиях святых, осведомленность в итальянских странствиях поляков от Кохановского до Мицкевича и Герлинга-Грудзинского — все это было материалом красочных рассказов. Самый великолепный концерт эрудиции, каким он нас одарил, состоялся в венецианском Дворце Дожей (мы провели там шесть часов). Ендрек показал нам вписанный в организацию пространства и аллегорические полотна кодекс этических принципов: заповедей, предостережений, которые в былые времена дисциплинировали власть имеющих этого города. Но Венецию-то он знал и многократно изучал раньше. А умел он войти в первое попавшееся здание, где никогда до того не был, и начать о нем лекцию. Несколько лет назад, когда они с женой Кристиной навели нас в Познани, мы предложили им прогуляться по Тумскому острову. Когда мы вошли в собор, где похоронены первые польские короли Мешко I и Болеслав Храбрый, Ендрек поглядел вокруг, пробежался по собору, склонился над несколькими надгробиями, прочитал несколько латинских надписей, определил святых на изображениях по их постоянным атрибутам и повел нас, жителей Познани, на экскурсию по познанскому храму.

Я каждый раз задавался вопросом, чем он занимается как преподаватель и научный сотрудник, и даже в первые годы нашей дружбы не находил ответа. Его тогда единственная книга (кандидатская диссертация) о Себастьяне Грабовецком, малоизвестном поэте польского барокко, очерчивала область заведомо узкую, если говорить о нуждах заграничной полонистики. А при этом он, как большинство полонистов за границей, должен был свободно ориентироваться во всем историко-литературном материале, монтировать тематические курсы по разным эпохам, пользуясь не только отечественным творчеством (было время, когда он читал в Удино курс чешской культуры).

Чем больше он брал на себя обязанностей, в том числе и административных, тем сильнее беспокоились его коллеги и близкие, когда же он выпустит в свет — и выпустит ли вообще — новую книгу. Кое-кому казалось, что, может быть, мне удастся поговорить с ним на эту щекотливую тему... Однажды я спросил его (мы ехали в машине), что с его новой книгой.

— Которой?

— Ну той, об итальянских путешествиях выдающихся поляков, — ответил я не задумываясь.

— А что, у тебя в голове и другие?

— В голове — три, — ответил он. И не переставал о них рассказывать, пока мы не вылезли из машины Йоли.

Эти три книги, вылеживавшие «в голове» Ливорни, созревающие в заметках на полях прочитанных книг, должны были рассказывать об итальянско-польских культурных связях, будь то закрепленных переводами Данте, Петрарки и Леопарди, будь то видимых в следах римской исто-



рии Мицкевича, а также в других биографиях и странствиях. Я спрашивал его о том, что было видно невооруженным глазом, раз я оказался в самой сердцевине его исследований, которые не изменились с нашей полчинской встречи: его по-прежнему притягивал *человек в мире*, об этом он рассказывал как гид, это провоцировало его на детективного характера экспертизы.

Если бы я тогда подольше подумал над реакцией Ендрека на мой вопрос, то не уговаривал бы его годами (настырно) полюбить компьютер, не удивлялся бы тому, что он упирается перед якобы «слишком маленькой» для его ладоней клавиатурой лаптопа, ибо пришел бы к выводу, что *Ендрек текстов не пишет, он их говорит, адресуя кому-то* (тому, кого знает). Работая над статьями для «Паментника литерацкого» [«Литературных записок»], он повторял, что делает это для Зоси Стефановской. Статьи, печатавшиеся в познанском «Аркуше» [«Печатном листе»], он посылал не столько редакции «Аркуша», сколько дружившей с ним так же сердечно, как я, Богуславе Лятавец, редактору этого журнала, моей жене. Загадками итальянских путешествий Юлиана Пшибося, которым никогда раньше не интересовался, он занялся, потому что я попросил его участвовать в познанской конференции «Столетие Пшибося» (и сделал это для меня — по дружбе). И ничего удивительного, что повествовательный стиль его трудов, с зигзагами, отступлениями, шуточками, выглядел близким к сказу. Точно так же *живой речью, преобразованной в письменную*, стали его *три* (как и обещал) книги. Он успел перед смертью надиктовать их секретарше, позаботиться об иллюстрациях. В октябре 2005 г, на римской конференции, посвященной Анджею Ливорне, тогда уже смертельно больному, он нетерпеливо ждал сигнальных экземпляров «Рима Мицкевича» — хотел раздать их, надписав.

На этой конференции я прочитал доклад «Компаративистика по Анджею Ливорне». Это был опыт реконструкции методологических основ его трудов и в то же время, 39 лет спустя после Полчина, опыт примирения моего «структурализма» с его «компаративизмом». Богуслава написала о нем мемуарный текст в «Аркуше». Не будучи уверенны, как он отреагирует на наши тексты, мы отправили их ему заранее электронной почтой. В ответ он написал:

Дорогие мои!

Оба текста меня захватили, хотя каждый по-своему. Текст Богуси — это поэтическая почти фантазмагория о дополнительном чувстве, каким, по ее мнению, располагает библиофил, это самое теплое, что было обо мне сказано когда бы то ни было, это сама нежность, которая и меня заставила расчувствоваться. А после ученых рассуждений Эдварда, полных соусом теоретико-литературных цитат, я чувствую себя как заливной карп, который, прочитав соответствующий абзац в поваренной книге, понял, какая огромная и ответственная роль ждет его в наступающий Сочельник. Не то чтобы в ваших пеанах не было мелких обмолвок или неточностей — разумеется, если позволите, я постараюсь их поправить, раз уж сокольным оком мне удалось их заметить. Хожу гордый по дому и читаю — иногда вслух. Целую вас от всего сердца, искренне взволнованный

Ендрек

P.S. Поклоны от столь же растроганной Кристины и до свиданья, а вскоре и до услышанья. Через несколько дней у нас в гостях будет Марина Фаббри, у которой вы в Риме остановитесь, так что согласуем все детали и потенциальные инструкции.



Янина Куманецкая

ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

• Он родился в 1926 г. в Новой Вилейке на Виленщине, тогда входившей в состав Польши; детство его прошло в местечке под названием Виленская колония. Дальнейший ход событий продиктован историей: жизнь партизана в литовских лесах и, наконец, Варшава. Тадеушу Конвицкому, одному из крупнейших польских писателей современности, замечательному кинорежиссеру и сценаристу, исполнилось 80 лет. «В прозе Конвицкого Виленщина — это место особое и весьма личное, некое интимное, утраченное им пространство. (...) ...писатель прекрасно понимает, что восточные окраины наделены статусом особого края. В польской литературе с ним связаны многочисленные легенды, он приобрел значение питательной среды для литературы. Современные писатели (...) способствуют упрочению мифа, связанного с этими местами и существующего еще со времен Мицкевича. Конвицкий хорошо знает, что страна его детства овеяна легендами и мифами, — пишет Зофья Савицкая, — ведь и сам он занимается ее мифологизацией, но абсолютно по-своему. (...) О Виленщине он высказывается с некоторой сдержанностью и иронией (...) называет ее «родиной пророков, колдунов и юривых». Но существует еще и другой Конвицкий, о котором пишет в статье, посвященной юбилею писателя, Адам Михник: «Тадеуш всегда обладал необыкновенным нравственным слухом, смелостью одинокого зубра из литовской чащобы в сочетании с добродушием литовца-медведя... Однако он писал также языком боли и отчаяния, когда «приходилось дышать воздухом, перенасыщенным молекулами полицейской подозрительности» (...) Тогда он упрямо повторял, что, только отстаивая собственную волю к свободе, оказывая всяческое сопротивление — пусть даже безнадежное и непонятное, — мы можем спасти то, что является сутью нашей собственной, польской самобытности».

• Издательство «Выдавництво Літэрацке» выпустило уже после смерти Станислава Лема сборник его фельетонов под названием «Раса хищников. Последние тексты». «Вот уже два десятилетия, — пишет в рецензии Войцех Орлинский, — новые книги Лема представляли собой сборники эссе и фельетонов. Последняя книга

оказалась среди них одной из лучших, пожалуй, даже самой лучшей. Как будто писатель, предчувствуя свое возвращение к звездам, хотел попрощаться с нами наилучшим образом».

• В возрасте 97 лет в Варшаве скончался Юлиуш Виктор Гомулицкий — писатель, филолог, литературовед, исследователь творчества Ц.К.Норвида, издатель, необыкновенный знаток истории Варшавы, человек, занимавший до конца своих дней чрезвычайно активную жизненную позицию, у которого всегда было полно планов. Отмечая недавно 95-й день рождения, он заявил друзьям, что, к сожалению, не может умереть, ибо и следующих ста лет ему не хватит, чтобы сделать все то, что им намечено...

• На первом месте в списке бестселлеров оказался сборник, выпущенный издательством «Прушинский и К^о» под названием «Рассказы по-летнему теплые и даже горячие», о котором Анджей Ростоцкий пишет: «...меня особенно встревожило то, что в большинстве из них описывается гетеросексуальная любовь. Бр-р-р... в такую жару на мокрой простыне!» А далее следуют футуристический роман Анджея Пилипука «Операция «День воскрешения»», «Трактат о лущении фасоли» Веслава Мысливского и «Король червей опять выходит из игры» Ханны Краль («Краткое изложение кредо — вера в силу человечества. (...) Повествование, в котором нет излишне громких слов, что делает его во много раз сильнее и драматичнее»). В области литературы факта — беседа Михала Карновского и Петра Зарембы с Ярославом и Лехом Качинскими «О тех двоих, что... Азбука братьев Качинских» — книга весьма своевременная, хотя ей явно недостает актуальных сопоставлений и более широкого взгляда на Польшу.

• В мире, который не умирает, о боли и старости не говорят. Неприлично задавать вопросы о пределах страданий, о преходящем, о бессилии перед кончиной. (...) В мире, который стыдится смерти, отделяется молчанием от этой темы и обходит ее украдкой, требуется немало смелости, чтобы написать такую книгу, как «Хорошая профессия», — утверждает Александра Клих. «Хорошая профессия» — это беседы, которые провели Кристина Бохенек и Дариуш Кортко с известными врачами, рассказывавшими о своем отчаянии и одиночестве, о



своих слезах и бессилии. «Иллюзия, что человек может жить вечно, — говорит один из них, — уже не имеет смысла. Речь идет о том, чтобы человек достойно жил и достойно умирал».

• В этом году исполняется 50 лет с момента создания одного из самых знаменитых польских кабаре, краковского погребка «Пивница под Баранами». Сначала был клуб, патетически называвшийся Клубом творческой молодежи, в котором студенты и выпускники могли встретиться, поболтать за бокалом вина. Но пришел Петр Скининецкий... «Настоящим отцам-основателям он не очень понравился, — пишет Лешек Армата. — Он издевался над собой и другими, не относился к жизни серьезно». И так постепенно клуб превратился в кабаре. «Краковское кабаре, — продолжает Лешек Армата, — возникло на волне октябрьской оттепели». ««Мы — островок в море жестокости, серости, глупости, подлости, цинизма, нетерпимости, насилия», — говорил Петр Скининецкий. И повторял вслед за Монтенем: «Если мы сами себя не спасем, то никто нас не спасет»». Сегодня, спустя 50 лет, «Пивница» приобретает новый блеск, а ее любимым артистам захотелось вспомнить прежние хиты. В конкурсе на самую популярную песню «Пивницы» победила «Карусель с Мадоннами» в неподражаемом исполнении Эвы Демарчик — на стихи Мирона Бялошевского, музыку к которым написал Зигмунт Конечный.

• «Это мероприятие для тех, кто ценит хорошую музыку, ориентируется в творчестве XX века и с наслаждением наблюдает за разнообразием контекстов, в которых появляются произведения нашего патрона», — сказал дирижер и композитор Роман Ревакович, новый директор фестиваля, посвященного творчеству Витольда Лютославского «Цепь», который уже в третий раз проходил в Варшаве. В этом году фестиваль был организован с гораздо меньшим размахом, чем предыдущие, хотя в программе фестиваля нашлось место многим выдающимся музыкантам, например, группе NYUD из Таллина или норвежскому ансамблю «Cikada String Quartet». Если учесть недостаток финансирования и лимит дотаций, то замечателен уже сам факт, что фестиваль все же смог состояться.

• Летом в Варшаве все чаще можно послушать, находясь на свежем воздухе (и бесплатно), выступления замечательных джазовых коллективов. Многолетнюю традицию имеют «Warsaw Summer Jazz Days», успехом пользуется (в последние особенно жаркие дни на концертах была невероятная теснота) такое мероприятие как «Джаз на Старувке». И это должно бы только радовать, но... всегда найдутся те, кому хочется видеть лишь темную сторону луны. Петр Ивицкий

пишет, например, так: «Фанаты, приученные к тому, что гигантов жанра всегда можно послушать просто так, десять раз подумают, стоит ли покупать билеты на их выступления по окончании летнего сезона. (...) Через год или два может случиться так, что не найдется желающих заплатить сто или двести злотых за билет (...) на ансамбли, которые и так играют на бесплатных мероприятиях». Пока же любители джаза, а также сами артисты и организаторы довольны: на концерты приходят толпы зрителей, музыка удовлетворяет самым изощренным вкусам.

• И еще одно мероприятие лета завоевало сердца варшавян. В течение всего периода летних отпусков в шести парках города шли показы фильмов, составляющих классику кинематографа. В репертуаре оказалось 48 художественных фильмов и несколько десятков студенческих работ. Организатором фестиваля выступил Фонд развития киноискусства, известный своей масштабной деятельностью в области популяризации кино и киноискусства. «Мы, что называется, занимаемся «работой у основ», — улыбается один из создателей Фонда. — Мы всех призываем делать фильмы».

• «Любуское кинолето» — один из старейших кинофестивалей в Польше, который собирает для участия в киносмотре картины из стран Центральной и Восточной Европы. В этом году на фестивале было показано около ста художественных и документальных кинолент, большинство из которых стали польскими премьерами. Жюри в своем решении отметило, что в этом году документальное кино продемонстрировало гораздо более высокий уровень, чем художественные фильмы, и поэтому «Золотая виноградная гроздь» присуждена только в категории документального кино. Лауреатом стала «Группа Паладино», в состав которой входят четверо молодых людей, выпускники Школы режиссерского мастерства Анджея Вайды. Было отмечено, что их фильмы поражают своей подлинностью, непосредственностью, простотой используемых средств и спокойным взглядом на окружающую действительность. Одним из самых любопытных мероприятий этого фестиваля стал показ документальных фильмов, которые были сняты Марекот Котерским в 1972-1986 гг. («Сумасшедший дом», «Мы все Христы»).

• «Польская кинематография в силу вещей устремлена в сторону коммерции и озабочена тем, чтобы залы были полны. Но киноклубы воспитывают другого зрителя, — сказал Анджей Вайда на торжестве по случаю 50-летия существования дискуссионных киноклубов. — Такого, которому фильм не обязателен, чтобы задавать вопросы... Именно эта немногочисленная элитарная аудитория решает, ка-



кой из фильмов войдет в историю. Будущее кинематографии за фильмами трудными, а не за теми, которые забываются сразу же, как только закончился сеанс. Поэтому необходима группа зрителей, формирующих мнение».

• События, определяемые эвфемизмом «познанский июнь 1956 года», были практически первым польским антикоммунистическим восстанием. Сегодня, в 50-ю годовщину этого восстания, о нем напоминают артисты, художники и музыканты. События 50-летней давности оживают на сцене и в музыке, воспоминания о познанском июне 1956 года получили отражение в документальном цикле общественного телевидения. Самый важный концерт, организованный на автомобильной стоянке перед заводом им. Ипполита Цегельского, рабочие которого начали познанское восстание, назывался «В честь Познанского Июня» и был подготовлен главным образом с мыслью о молодежи. Мероприятия проходили и в других местах Познани — например, возле Замка были развешаны цветные страницы комикса «1956 — Познанский Июнь», а возле памятника, посвященного тем событиям, на фоне Познанских крестов, состоялось большое зрелище «Июнь 1956-го», поставленное режиссером Изабеллой Цивинской в формате документа, которое сопровождалось художественными выступлениями — о познанском июне в них рассказывали авторы театрального авангарда и хип-хоповские рэперы. Именно в их исполнении в заключительной части одного из концертов прозвучал текст, который в те дни передавало Радио «Свободная Европа», слова, которые сказал его директор Ян Новак-Езеранский: «Никакому правительству и никакой власти не продержаться, если их единственной опорой будут террор и насилие. Ибо в конечном итоге всегда был и остается решающим человек».

• В этом году премию Яна Карского «Орль» получили «Тыгодник повсехный» и журналистка Ориана Фаллачи. Когда-то Ян Карский утверждал, что для того, чтобы говорить правду друзьям, требуется гораздо больше смелости, чем для борьбы с врагом, — отметил, принимая статуэтку, главный редактор «Тыгодника повсехного» ксендз Адам Бонешкий. Ориана Фаллачи получила премию за страстность и смелость ее репортажей, которые свидетельствуют о нашем времени. При присуждении этой премии мнение жюри разделилось, но Адам Михник, получая премию от имени лауреата, поскольку сама журналистка в связи с болезнью не смогла участвовать в церемонии, отметил: «Ориана Фаллачи иногда, быть может, преувеличивает наши фобии и страхи. Но это отважная и независимая журналистка, стиль репортажей которой всегда эмоционален».

• Приглашенный дирекцией Музея варшавского восстания Эдвард Двурник положил начало галерее «Стена искусства», разместившейся в музейном пространстве. У него, пишущего прямо на стене, на глазах у собравшейся публики, рождались, как сам он сказал, «самые разные и смелые замыслы: я хотел изобразить более десятка Дворцов культуры, вписанных в пейзаж Варшавы, или Гитлера и Сталина, посаженных на кол. Однако, успокоившись, я решил написать нечто, что соответствует серьезности данного места. Я решил написать сентиментальную композицию, ибо меня переполняет искреннее сожаление о том, что во время восстания погибли самые лучшие представители варшавской молодежи, ее цвет». После этого популярнейшего варшавского художника сотрудники Музея пригласили художников из группы «Твоживо» («Материал»), члены которой не скрывают того, что их глубоко волнуют современные проблемы общества. Их произведение — это настенная живопись о свободе.

• Этим летом город Замость превратился в арену осуществления необычного художественного проекта. В город съехались десятки мастеров со всего мира, чтобы обсудить идею и последствия реализации проекта, насчитывающего 400 лет. «Авторами проекта, о котором идет речь, — пишет Дорота Ярецкая, — были гетман Ян Замойский (...) и архитектор из Падуи Бернардо Морандо (...) взявшие за основу философские идеи Платона и идеи времен Ренессанса. В результате вырос город, каких в Европе мало. Построенный с нуля». Проект в Замости рассчитан на все лето, а осенью при участии тех же мастеров он будет перенесен на улицы Потсдама.

• О выставке «Тепло/холодно. Летняя любовь», организованной в варшавской галерее «Захента» пишет Дорота Ярецкая: «В искусстве любовь представлена чем-то вроде яростной борьбы, и нигде не сохранилось ее сентиментального изображения, разве что в гомосексуальном воображении... Выставка ставит вопрос о том, возможно ли вообще изобразить любовь в живописи, а ответ получается такой: попытаться можно, хотя в конце концов нас все же ожидает полное фиаско». Директор галереи «Захента» Агнешка Моравинская, открывая экспозицию, предупредила: «Эта выставка предназначена исключительно для взрослых зрителей, поэтому мы организовали ее летом, когда у детей каникулы». Однако другая рецензентка смотрит на этот вопрос иначе: «Эти предостережения директора галереи слегка преувеличены, хотя трудно удивляться ее осторожности. (...) ...я бы скорее опасалась не присутствия детей на выставке, а присутствия тех взрослых, которые считают себя защитниками нравственности».



• В этом году у нас было очень жаркое лето, и все говорит о том, что у искусства летом должен быть иной облик по сравнению с тем, который привлекает нас зимой. Хотя бы с некоторых точек зрения. Примеров довольно много. Но мы остановимся здесь лишь на двух из них.

• «Эра. Новые горизонты» — это самое важное киномероприятие года. «За настоящими фестивалями, — пишет Тадеуш Соболевский, — обычно стоит большая команда исполнителей и плюс все-таки отдельная личность. Она задает тон. В искусстве наблюдается гораздо больше справедливости, если решает кто-то один и если он отличается радикальным вкусом, не ищет золотой середины, но обращается к крайностям. К таким личностям относится Роман Гутек».

В этом году шестой по счету фестиваль «Эра. Новые горизонты» впервые проводился во Вроцлаве. Прежний хозяин, город Тешин, оказался слишком мал для невероятно богатой программы мероприятия, но прежде всего — для огромной массы желающих принять в нем участие. Роман Гутек уверяет, что перенос фестиваля оказался вынужденной мерой — прежде всего по организационно-финансовым соображениям. В чем же заключается феномен этого мероприятия, в котором так охотно участвуют мастера, а зрители создают его неповторимую атмосферу? «Вне всякого сомнения, — в самой программе, — пишет Павел Т. Фелис, — ибо в ней главное не хиты, но то, что творится на окраинах жизни кинематографа. Отсюда появление картин неизвестных авторов или дебютантов, картин дерзко экстравагантных, провокационных, раздобытых зачастую из второстепенных секций Канна, Венеции, Берлина... Их квинт-эссенция — это главный конкурс, по традиции — своеобразная кунсткамера, в которой полно фильмов рискованных, подчас с перебором, не всегда доведенных до конца, а иногда вызывающих восторг своими чистыми интонациями и оригинальностью видения. Зрители этого фестиваля даже придумали свое название для этого кино — они называют его «гутковым», по фамилии Романа Гутека. Ибо очередной ключик к нему — это сами зрители: необузданные, задиристые, которые реагируют на просмотрах, как на рок-концертах: кино либо восхищает их, либо вызывает в них гнев и раздражение. (...) Поражает энергия, высекающая искру между организаторами — людьми, которые стремятся поделиться собственными пристрастиями, — и зрителями, к которым существует отношение не как к элементу «target'a» [отношение не утилитарное, не для самовыражения автора фестиваля. — И.К.], но как к партнерам, с которыми Роман Гутек обсуждает фильмы и даже входные билеты и систему кондиционирования».

У «Новых горизонтов» есть свои зрители, свой стиль и свои «любимчики». «Обдумывая формулу, особенно конкурсных фильмов, — говорил директор фестиваля Роман Гутек, — мы задавались вопросом, есть ли в кино XXI века (которое формируют вкусы массовой публики) место для режиссеров, создающих свои фильмы вопреки моде, для индивидуальностей, которые ценят собственный стиль и собственный язык, который не подделаешь? Такие непокорные художники по-прежнему существуют, они рассеяны по разным уголкам света, им все труднее становится осуществлять свои проекты. Однако у их фильмов есть свои энтузиасты — и именно для них существует этот фестиваль. (...) «Эра. Новые горизонты» — фестиваль кино визионеров, художников бескомпромиссных, которые смело идут избранным путем вопреки господствующим вкусам и модам, чтобы своим неповторимым языком рассказывать о самом важном».

«Гран-при» фестиваля — премию, присуждаемую зрителями, — получила картина «Святое семейство» чилийского режиссера Себастьяна Кампоса. Далее идут картины: «Виталь» Стюни Цукамото, «Намаса Paraguaуап» Паса Энкуны, «Солнце» Александра Сокурова и «Настройщик землетрясений» Тимоти и Стефена Квай. В конкурсе «Новые польские фильмы» международное жюри присудило премию фильмам «Прости» Марека Стахурского и «Стыд» Петра Матвейчика.

• Совершенно иную модель массового мероприятия предлагает Юрек Овсяк. «Остановка Вудсток» — это один из крупнейших в Европе музыкальных фестивалей. Ежегодно на него съезжается от 200 до 300 тысяч человек, в том числе молодежь из-за границы, главным образом немцы, а также украинцы, чехи, словаки и многие другие. По словам организаторов, для фестиваля возводится самая большая в Европе сцена, возле сцены создается гигантский палаточный городок со всей инфраструктурой — в частности с комиссариатом полиции, постами «Мирного патруля» (фестивальная охрана порядка), с торговыми пассажами, медпунктами, банком, почтой и т.д. Одни называют фестиваль самым крупным мероприятием подобного рода в Европе, другие утверждают, что это очень большое преувеличение. Однако, независимо от любых возможных сравнений, инициатива Юрека Овсяка настолько оригинальна, что ей стоит уделить некоторое внимание.

«Остановка» в организационном плане органично связана с крупнейшей благотворительной акцией в Польше — «Большим Оркестром Рождественской помощи», которую также организует Юрек Овсяк. «Оркестр» собирает деньги на медицинскую помощь детям, а десятки тысяч его добровольцев веселятся по-



том на «Остановке Вудсток». «Так что публика этого фестиваля все же особая, — пишет журналист, — это не только самые приметные «оторвавшиеся» юнцы с гребешками панков на голове, но и столь же многочисленная группа — хотя и менее заметных (так называемых «нормалов») — подростков, которые поверили Овсяку и создали свою общность, которой хочется сделать что-нибудь полезное. (...) Именно поэтому Овсяк — не обычный менеджер и конферансье. Он для молодежи образец (...) на практике показывает, что такое гражданское общество. (...) Этот аспект — тоже определенный ключ к пониманию феномена «Остановки Вудсток». Возможно ли чувствовать себя в безопасности на бесплатном мероприятии для нескольких сотен тысяч человек, во время которого массово высвобождается юношеский адреналин, дополнительно подпитанный литрами пива?»

В этом году к «Остановке Вудсток» присоединились еще два мероприятия, теперь уже интегральные, — это до сих пор жестко ей противопоставляемая церковными кругами и находившаяся с ней в конкуренции «Остановка Иисус», а также совершенно новое начинание — «Академия самых изящных искусств». Последняя — это несколько палаток в центре огромного городка, выросшего вокруг сцены и насчитывающего несколько сот тысяч человек, — в этих палатках проходят встречи и дискуссии. «Мы хотим предложить молодежи — сказал накануне открытия «Остановки» пресс-секретарь организаторов Кшиштоф Добес, — встречи и дискуссии об искусстве и культуре. (...) Предполагаются мастер-классы по музыке и изобразительному искусству (...) цикл встреч с религией и о религии, с участием католического священника, имама, рав-

вина. (...) Мы всегда устраивали не просто фестиваль, но прежде всего встречу с молодежью. Ведь здесь на протяжении многих лет работают неправительственные организации. Эта деятельность, назовем ее «мировоззренческой», осуществлялась и прежде, но «Академия» — огромный шаг к развитию этой деятельности».

А политика? «Чему Овсяк может научить «воспитанников»? — спрашивает Рафал Калюкин. — Тому, что можно быть патриотом, не будучи ни сторонником партии «Право и справедливость», ни боевиком организации «Всепольская молодежь», ни членом «Семьи «Радио Мария»». Тому, что нельзя позволить правящим партиям приватизировать понятия патриотизма, любви к родине, гордости за осознание себя поляком. «Я горжусь тем, что я поляк», — заявляет Овсяк. Но тут же добавляет, что нынешняя Польша вызывает в нем крайнее раздражение. (...) Овсяк — это Высший Авторитет. Где бы он ни появлялся — всегда овации. Что бы он ни сказал — залп аплодисментов. Шеф «Вудстока» знает, что достаточно лишь нескольких простых слов, чтобы пробудить в молодежи чувство собственного достоинства и она пойдет за тобой. Достаточно крикнуть: «Я вами горжусь!» — и готово». Однако Калюкин замечает в этом и возможную опасность. Поэтому, подводя итог, он с тревогой пишет: «У Овсяка есть настоящие враги, но он, вероятно, хочет, чтобы их было еще больше, поэтому ищет вообразимых. Так возникают общины с синдромом осажденной крепости. Этому бывают подвержены, к сожалению, не только те, что страшатся модернизации и становятся приверженцами торунского монаха [свящ. Рыдыка], но и свободолюбивая молодежь, как губка впитывающая слова своего идола».



Лешек Шаруга

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

После книги «Соседи», посвященной массовому убийству евреев в Едвабне, о чем «Новая Польша» много писала, — в том самом местечке, где после установления фактов просил прощения за вину своих соотечественников президент Польши, — Ян Томаш Гросс выпустил новую книгу: «Страх» («Fear»), пока только по-английски. Тема книги — антисемитизм в послевоенной Польше, особенно во второй половине 1940-х. Отклики некоторых критиков характеризуются нервозностью: автора обвиняют в недобросовестности и методологических ошибках. Гросс выдвигает довольно грубый тезис: тогдашний антисемитизм как проявление страха, что «евреи вернуться» и потребуют обратно свое имущество, которым за время войны завладели поляки. Как обычно, заведомо не будет недостатка в комментариях, использующих книгу Гросса для подтверждения дежурного стереотипа о поляках — самых заядлых антисемитах. Этого стереотипа не искоренит и такой очевидный факт, что больше всего деревьев, символизирующих Праведных среди народов, — 16 тысяч — посажены в Израиле в честь поляков, спасавших евреев.

Польский язык после войны породил два термина: «послееврейское» и «посленемецкое». «Посленемецкое» — «оставленное немцами», выселенными из тех мест, где они жили в Польше. А «послееврейское» — то, что поляки (частично еще в ходе войны) «унаследовали» от евреев, которых выселяли, а потом отправляли на уничтожение. И вот оказалось, что погибли не все — некоторые возвращались и требовали свое назад. Этого новые владельцы могли бояться. И боялись. Кстати, бояться и до сих пор: после 1989 г. в рамках реприватизации национализированной коммунистами собственности начались попытки прежних владельцев зданий или земельных участков вернуть свою собственность; среди них есть и наследники еврейских владельцев.

Интересно пишет об этом страхе Бартомея Сенкевич в статье «Вывертывание детонатора», напечатанной в еженедельнике «Впрост» (2006, №13):

«Общей чертой сообщений о новой книге автора «Соседей» было необычайно критическое отношение как к фактам, так и к главному тезису: о послевоенном польском антисемитизме, вытекавшем из страха. Страх ответственности за соучастие в материальных последствиях Катастрофы, что со временем превратилось в негласный общественный договор, соблюдавшийся властями ПНР. (...) Зато не был поставлен главный вопрос. Прав ли Гросс или нет в целом (возможно, ошибаясь в деталях или рассматривая факты выборочно)? Не ведем ли мы себя перед лицом такого обвинения так, как описывает Монтень: «Часто я вижу, что люди, когда им предъявляют факты, предпочитают доискиваться, что за ними стоит, а не — истинны ли они». Польша как государство и поляки как нация сталкиваются с обвинениями в антисемитизме издавна. Крайней формулировкой этого обвинения стала повторяемая ложь о «польских лагерях смерти» — особо болезненное и частое проявление этой проблемы. Поэтому кажется необходимым отделить правду об антисемитизме в Польше от обычной лжи и искажений, чтобы самим успешно справиться с призраками прошлого и бороться с ложью. Пока мы сами не станем систематически этим заниматься, нам неизбежно придется прибегать к оборонительной стратегии типа откликов на последнюю книгу Гросса — шатких и увечных. Мы имеем право познать, какова была действительность послевоенной Польши, с помощью собственной отваги, а не под влиянием книг, издаваемых за океаном и рикошетом возвращающихся на берега Вислы. Но в медийно-публичном пространстве эта тема маргинальна, и ничего удивительного, что Гросс обвиняет поляков в том, что они вытолкнули из коллективного сознания послевоенный антисемитизм и его проявления. Напомним, что без книги Гросса [«Соседи»] не состоялся бы ритуал признания в вине и просьбы о прощении по делу Едвабне. Автор был тем, кто сделал это преступление достоянием всеобщего сознания — несмотря на то, что в тогдашней полемике Гроссу указывали допущенные им фактические и методологические ошибки. Для нравственной оценки преступления в Едвабне они не имели значения. Есть еще другая сторона медали: мы не используем те элементы, которые могли бы показать величие и героизм поступков, совершенных перед лицом подлости и злодеяний. Польша — единственная, подчеркиваю, единственная страна, где не вышел в форме книги список отечественных Праведных среди народов: имея больше всего граждан, спасавших евреев, мы не удосужились почтить их память».

Наконец, ссылаясь на свои беседы с людьми, которые были очевидцами послевоенного польского антисемитизма, Сенкевич пишет:



«Хотел бы я знать, правдива ли та картина, домысленная мною по рассказам людей, с которыми столкнула меня жизнь. Я имею право знать, как выглядела социальная действительность Польши после Катастрофы и было ли то, о чем я слышал (...) отдельными происшествиями или правилом. Хотел бы я это услышать, прочитать у историков, издающих свои книги по-польски, и анализ их трудов на страницах популярных СМИ, сделанный с таким же вниманием, какое было уделено новой книге Гросса».

Это не единственный вопрос в теме польско-еврейских отношений, который ждет описания и документации. Давно уже мое внимание останавливается на том, что литературоведы, особенно историки литературы межвоенного периода, так мало занимаются еврейской литературой в Польше тех времен (независимо от того, на каком языке она создавалась; вопрос, настолько существенный, что, например, творчество Бруно Шульца, писавшего по-польски, некоторые еврейские литературоведы включают в еврейскую литературу) и не замечают, что создававшаяся в Польше еврейская литература — а не забудем, что из этого круга вышел хотя бы (ограничимся этим примером) будущий нобелиат Исаак Башевис Зингер, — в немалой степени вдохновлялась польской литературой и сосуществованием в пространстве польской культуры. Прекрасный пример таких связей — творчество Авраама Суцкевера, поэта, связанного с группой «Юнг Вильне» («Молодое Вильно»), действовавшей в нынешней столице Литвы в то же самое время, что и группа «Жагары», в которой участвовал Чеслав Милош — спустя многие годы переводивший Суцкевера, но тогда не поддерживавший никаких контактов со своими еврейскими ровесниками в литературе. Лишь недавно, в 2005 г., вышла посвященная этой проблематике книга Иоанны Лисек «Юнге Вильне», а также антология поэзии еврейского авангарда тех лет на идише, составленная Каролиной Шиманяк («Варшавский идишистский авангард», 2006), — интересный анализ обеих книг напечатан в посвященном новым книгам приложении к «Тыжднику повшехному» (2006, №32).

Речь идет не только о вопросах исторического характера. У них есть продолжение и в наше время. Это показывает обширная статья Каролины Фамуской ««Может, кто-нибудь знает, кто я»: литература трудностей с самосознанием», напечатанная в последнем (XVI-м) выпуске выходящего в Тель-Авиве ежегодника «Контурь», снабженного подзаголовком «Избранная проза и поэзия израильских авторов, пишущих по-польски». Автор пишет:

«Несомненно (...) польская словесность в Израиле создает специфическое в социологическом аспекте качество. В традиционном литературоведческом понимании ее достаточно записать в категорию польской литературы, как это делают с т.н. эмигрантской литературой; взгляд с точки зрения социологии литературы требует это описание уточнить. Если польско-еврейскую культуру можно понимать как почву, на котором развивалось явление, называемое (...) польско-еврейской литературой, то польскую словесность в Израиле следовало бы признать продолжением этой литературы».

Так можно рассматривать хотя бы поэтическое творчество Генрика Гринберга (более известного как прозаик), который сознательно датирует свои стихи в зависимости от их звучания то по христианскому, то по еврейскому календарю. Однако Гринберг живет в США. К писателям, живущим в Израиле, Фамуская предлагает применять термин «польско-израильская литература»:

«Этот термин можно рассматривать как уточнение названия «польско-еврейская литература». В обоих случаях вторая половина прилагательного относится не к языку, а к национальной или государственной принадлежности».

Подчеркивая, что писатели в Израиле сегодня не всегда сознают, что продолжают традиции польско-еврейской литературы, она отмечает:

«Однако несомненный культурный и экзистенциальный дуализм особого, нередко драматического характера позволяет связывать друг с другом два эти явления: межвоенную польско-еврейскую литературу и польско-израильскую словесность».

Речь при этом идет не о второстепенных писателях — достаточно вспомнить таких авторов, как Лео Липский, Ида Финк, Рената Яблонская, Ирит Амель. Немаловажно и то, что писателей, прибывавших из диаспоры, особенно после окончания войны, не всегда встречали в Израиле с раскрытыми объятиями. Их «двойная» национальная принадлежность становилась если не угрозой, то хотя бы тернием в гордости собственным государством, которую взращивали израильские первопоселенцы:

«Для понимания условий развития польско-израильской литературы важно учитывать общественно-политический контекст истории созданного в 1948 г. государства. Сильный патриотизм израильтян по отношению к государству, завоеванному с трудом и часто находящемуся в опасности, так или иначе вынуждал их к конфронтации с привязанностью к своему прошлому, остававшемуся в кругу воздействия других традиций и культур. И тут встает вопрос непрерывности самосознания, для которого память и приятие своего прошлого весьма существенны».

В заключение автор пишет:



«Израиль, который для одних был любовью с первого взгляда (...) для других (составлявших большинство) — оптимальным решением жизненных проблем, а для некоторых — только «удобной автобусной остановкой в Азии», играет огромную роль в речи о национальной принадлежности, ведущейся в польско-израильской литературе. Авторы в большинстве противостоят стереотипам и навязчивым идеологиям, усматривают недостатки и достоинства страны и живущих в ней людей. Их отношение часто характеризуется двойственностью».

И еще одна подглавка польско-еврейских судеб: вопрос культивирования в Польше наследия еврейского творчества на польском и еврейском (главным образом на идише) языках. На протяжении десятилетий эта словесность в Польше замалчивалась: достаточно вспомнить трудности с публикацией в ПНР произведений таких поэтов как Владислав Шленгель (уцелевший в варшавском гетто сборник его стихотворений «Что я читал умершим» издан стараниями Ирены Мацеевской), или больше десяти лет ожидающей выхода в свет антологии еврейской поэзии, составленной Саломоном Ластиком и Арнольдом Слуцким. Не переиздана ставшая букинистической редкостью антология стихов, посвященных Катастрофе («Песнь сохранится», составленная Михалом Борвичем и вышедшая небольшим тиражом в 1947 году. Так что на самом деле польско-еврейская литература еще ждет серьезной работы: многие авторы, тоже писавшие по-польски, но не публиковавшиеся в главных периодических изданиях межвоенного периода, остаются неизвестными. Известна и Мелания Фогельбаум, которой посвятил статью Лешек Жулинский в гданьском ежеквартальном журнале «Миготаня, пшеясненя» («Мигания, проблески», 2006, №2). Статья называется «Еще одна рана. Памяти Мелании Фогельбаум». Автор пишет на основе собранных им сведений о неизвестной поэтессе:

«От Катастрофы прошло шесть десятков лет. Но в мрачном «списке polegших» продолжают появляться новые имена. История, словно на археологических раскопках, обнаруживает для нас новые жертвы. Такие «раскопки» стояли за телефонным звонком пани Ядвиги Мостович. Разумеется, я заинтересовался сборником и уже через несколько дней держал в руках «Тетрадь из гетто в Лодзи» Мелании Фогельбаум, поэтессы, которая осталась жить в памяти горстки своих друзей. Кем была она?

Родилась Мелания 5 июня 1911 года. Была одарена не талантом, а многими художественными талантами: занималась живописью, скульптурой, писала стихи и эссе. Знала историю искусства. В Litzmannstadt Ghetto (лодзинское гетто) она попала вместе с семьей, как и большинство лодзинских евреев. (...)

Меля была туберкулезница. Состояние здоровья ухудшалось. Во время ликвидации гетто ее вывезли — на носилках — в Аушвиц-Биркенау, где она погибла в газовой камере в день приезда — 1 августа 1944-го. Ей было 33 года. Через некоторое время Нахман Зонабенд нашел на территории гетто две тетрадки со стихами Мели (...).

Все, что осталось от Мелании Фогельбаум, друзья передали в депозит в вашингтонский Национальный музей Катастрофы. Мне известно, что кроме текстов, опубликованных в «Тетради», есть еще горстка ненапечатанных. Стихи Мели (по-польски — вероятно, только по-польски она их и писала) поражают: их форма, лексика, тональность отходят от традиционного «канона» еврейской поэзии (...). Меля была талантливой и оригинальной поэтессой. Если бы ей дано было выжить и писать многие годы, ее творчество могло бы стать особым звеном современной поэзии».

Вспоминается, что во время войны один из самых одаренных, еще совсем юных поэтов, которым вскоре предстояло погибнуть, написал о межвоенной поэзии, что она на три четверти была чужда «духу сей земли», — он имел в виду поэтов еврейского происхождения, таких как Лесьмян, Лехонь, Вежинский, Слонимский, Тувим. Да вот только их поэзия оказалась для польских традиций необычайно важной. Можно ли ее назвать польско-еврейской или еврейско-польской литературой? На так поставленный вопрос я не нахожу разумного ответа. И боюсь, что в такой формулировке этот вопрос становится опасным как для поляков, так и для евреев. Разумеется, «национальность» литературы обычно определяется языком: творчество Джозефа Конрада, хоть он и был поляком, принадлежит английской литературе. Но это не так просто: не все, что написано по-английски, — английская литература.



ПАТРИОТ НЕ МОЖЕТ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ПОЛИТИКОЙ

Беседа с Лешком Бальцеровичем

— *Что такое патриотизм в экономической политике?*

— Предлагаю спросить тех, кто об этом говорит, например, премьер-министра Франции. Мой взгляд на патриотизм весьма прост. В военное время патриотизм иногда требует жертвовать жизнью. А в мирное время — успешной борьбы с тем, что мешает Польше достичь целей, к которым стремятся люди: правового государства, развития экономики, снижения уровня безработицы. С 1989 г. патриотизм заключается в том, чтобы активно вести борьбу с пережитками социализма, и не раз в четыре года, а постоянно. Снобистское бравирование аполитичностью, то есть претенциозная пассивность перед лицом опасности растратить выпавшие нам огромные шансы, — это для меня явное отсутствие патриотизма.

— *Можно ли сейчас, когда Польша выбралась из кризиса рубежа 80-90-х годов, говорить, что патриотизм требует, например, создания сильных польских фирм, лидеров в регионе?*

— Я бы несколько осторожнее пользовался словом патриотизм. Конечно, у некоторых французских политиков появляются, например, идеи создания крупных национальных фирм, которые должны активно использовать свои капиталы за границей, при том, что они же пытаются блокировать активность крупных иностранных фирм у себя в стране. Это не патриотизм, а мораль Кали (действующее лицо повести Сенкевича «В пустыне и пуще», трактующий справедливость только в свою пользу. — Пер.) Кроме того, подобная стратегия вовсе не обязательно окажется эффективной с точки зрения интересов всей страны. Ибо таким образом могут возникать колоссы на глиняных ногах или укрепляться монополии, обогащающиеся за счет отечественных потребителей.

— *В таком случае какое место занимает экономическая политика в политике правительства?*

— В странах, не знавших социализма, экономическая политика включает в себя, главным образом фискальные решения (тесно связанные с политикой, ибо бюджет утверждается парламентом), а также монетарную политику. Но даже в странах Запада, которые пережили период экспансии этатизма, существует еще и третья сфера экономической политики — так называемые структурные реформы, то есть попытки восстановить более широкое распространение свободного рынка, с тем чтобы у людей было больше собственных денег.

Принципиально иной становится ситуация, когда исходной точкой служит социалистический строй — тогда не удастся отделить экономические реформы от реформы государства. При социализме все властные функции были в руках государства. Поэтому любые попытки государственного переустройства в направлении экономической свободы, которая порождает свободный рынок, а также гражданских свобод, которые формируют гражданское общество, требуют принципиального ограничения сферы влияния государства (то есть власти политиков) и изменения его структуры. Если стартом служит социализм, то нельзя утверждать, что можно быть сильным в вопросах экономики, не разбираясь в вопросах государства, или же что можно разбираться в вопросах государства, не разбираясь в вопросах экономики. Хотя я знаю таких людей, которые утверждают, что именно так и есть (смех).

— *Как теперь обстоят дела в Польше? Государство по-прежнему требует формирования экономической политики или сейчас уже достаточно лишь соответствующего сочетания фискальной и монетарной политики?*

— В Польше за последние 17 лет произошли огромные преобразования, но в некоторых областях нас еще многое отделяет от настоящих экономических тигров, так как некоторые из наших реформ оказались политически заблокированы. Отсюда, в частности, большая структурная безработица. Кро-



ме того, важно знать, какая форма государства необходима с точки зрения целей, к которым мы стремимся. То есть с точки зрения того, чего хотят люди. А поляки хотят быстрее достичь западного уровня жизни — значит, они хотят быстрого и постоянного развития.

— *Развитие — это цель или инструмент?*

— Это необходимое средство для того, чтобы повысить уровень жизни, чтобы польское государство стало в мире значительней, чтобы ниже был уровень безработицы.

Люди хотят также соблюдения законности — чтобы закон защищал основные свободы, а не имел силу лишь на бумаге. Они хотят также многого другого, хотя бы чистоты окружающей среды. В целом довольно просто добиться согласия на уровне целей. Но потом мы входим в сферу знакомства с методами, с помощью которых возможно достижение этих целей. Правда, никто не обладает в полной мере знанием о государстве и экономике, но всё же мы довольно много знаем, чтобы говорить о том, что является эффективным с точки зрения этих целей, а что — вредным. Достаточно, например, прочесть очередные отчеты Всемирного банка, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития или Европейского банка реконструкции и развития, касающиеся нашего региона, в том числе Польши. Эти отчеты совпадают в своих главных рекомендациях: нам следует ограничить чрезмерно высокие налоги, являющиеся следствием чрезмерно высоких государственных расходов. Нам следует приватизировать предприятия, ибо политики — плохие хозяева.

И речь тут идет не о свойствах и качествах людей, но о стимулах, которые ими руководят. Всюду на свете дело обстоит так, что политик будет охотнее склонять предприятие инвестировать в свой избирательный округ, чем туда, где это продиктовано экономическим расчетом. Поэтому политики не должны — как владельцы — обладать непосредственной властью над предприятиями, это может обеспечить только приватизация фирм. Польше следует освободить рынок от всевозможных парализующих его предписаний.

Безработица возникла не вследствие того, что мы провели слишком масштабные рыночные реформы, а вследствие того, что некоторые из них, как скажем, ограничение фискального бремени и либерализация рынка труда, были заблокированы демагогами. Наконец, Польше необходимо, чтобы эффективней работали институты, без которых нет государства, например министерство юстиции.

— *Согласны ли вы с тезисом, согласно которому мы уже с 1988 г. начали отходить от экономики социализма, но примерно в 1993-м наступил рецидив социалистического мышления?*

— Нет, это слишком сильно сказано. Все время, особенно в 1998-2000 гг., приватизация продвигалась вперед. Меня шокировало то, что автора самого крупного успеха в деле освобождения деятельности фирм от влияния политического фактора, министра Вонсача, отдали под суд Государственного трибунала. Ведь суть социализма составляла государственная собственность, то есть власть политиков. Таким образом, приватизация означает отход от социализма в его ключевом аспекте.

Что касается редукации фискальной сферы, то тут достижений меньше — не потому, что не было попыток, а потому, что было задействовано политическое блокирование. Силы этатизма существуют всегда, в каждом обществе, но выигрывают они только тогда, когда не встречают достаточно сильного противодействия — в таких условиях возникает государство, которое провозглашает много социальных лозунгов, но подавляет развитие. Что касается регулирования, то тут вводилось множество правил, связанных, в частности, с вхождением Польши в ЕС. Безусловно, под лозунгом приспособления к Евросоюзу делались попытки протолкнуть всевозможные ведомственные идеи. Немногие знают, сколько времени уходило на борьбу с ними. Хуже всего у нас получилось с рынком труда, где большая часть предпринимаемых мер по либерализации блокировалась лозунгами «социальной защищенности».

— *То есть переломный момент приходится не на 1993 год, а на более поздние годы?*

— Единой цеzurы не существует, ибо постсоциалистические преобразования идут в нескольких направлениях. Основные — это приватизация экономики, ограничение раздутой фискальной системы государства, отмена правил, ограничивающих экономическую свободу, и в результате рынок, усиление законности. Прогресс проявлялся по-разному в разных областях и в разные периоды.



— *Возможно ли, что попытки протащить социалистические решения в связи с «приспособлением к ЕС» были на самом деле следствием того, что Евросоюз оказался социалистическим проектом? Мы сетуем на возвращение этатизма в Польше, а французы и немцы говорят о нас, что мы слишком либеральны.*

— Так о нас говорят только социалисты, которых, впрочем, можно найти и в партиях правого толка. Во Франции правые в своих взглядах на государство и общество немногим отличаются от левых. «Правый» премьер-министр Балладюр сказал однажды, что государство — это цивилизация, а рынок — джунгли. Но ведь это чистый социализм!

Однако во Франции, несмотря ни на что, капитализма больше, чем это следует из политических деклараций. Там очень сильно и динамично развивается частный сектор. 200 лет капитализма сделали свое дело.

У нас же за плечами всего 16 лет перехода к рыночной экономике. С точки зрения провозглашаемых целей в этом процессе — из-за политического блокирования — мы сделали в целом слишком мало, а не слишком много. Не случайно, что по уровню доходов на душу населения нас опережает Литва.

— *Тигром была Южная Корея, где государство серьезно вмешивалось в развитие экономики. Это была иная модель, далекая от либерализма. Некоторые экономисты, например Джозеф Стиглиц, прямо приписывают последний экономический кризис в Южной Корее тому, что там насильно навязывалась совершенно чуждая корейцам англосаксонская модель. Возможно, существуют иные пути достижения целей, о которых вы говорили?*

— Стиглиц, правда, получил Нобелевскую премию, но не за свою публицистику последнего времени. Чтобы быть экономическим тигром, нет необходимости удовлетворять всем идеальным условиям рационально ограниченного государства. Достаточно быть в целом ближе к этой модели, чем другие страны, которые относятся к Третьему миру. По моему мнению, самым главным фактором, отличающим тигров от других бедных государств, является низкий уровень налогов. Благодаря этому у людей есть сильные стимулы к труду и накоплению. Корейское чудо зашаталось в 80-е годы, когда произошел возврат этатизма.

Под влиянием этих испытаний корейское государство выбрало более либеральный курс. Примесь этатизма у экономических тигров бывает разной, но у этих государств всегда низкий уровень налогов, много экономической свободы, развито уважение к частной собственности, они открыты миру или, по крайней мере, ориентированы на экспорт, и у них относительно низкий уровень инфляции. В этом главные факторы их экономического успеха. Южная Корея в начале 50-х годов была такой же бедной, как Судан. Теперь между ними пропасть.

— *Почему в Польше понятие «либерал» стало негативным прозвищем?*

— Употребление этого слова в качестве ругательства — дешевый трюк, заимствованный у западных социалистов, но с местной спецификой. Последние 30 лет прошли в мире под лозунгом ликвидации социализма и этатизма в пользу рынка — под влиянием негативного опыта раздутых властных структур государства. Этому системному наступлению либерализма в государстве и экономике, разумеется, сопротивлялись силы этатизма, которые, в частности, пытались дискредитировать само слово «либерализм».

Трудно сказать, что это было — сознательная стратегия или же непредвиденный побочный эффект политической борьбы. Когда-то, при социализме, бранным словом был термин «буржуазный». Так или иначе, в практике государственного устройства в последние десять с лишним лет преобладало либеральное направление, ибо раздутое государство стало источником высокого уровня безработицы, экономической стагнации, морального разложения.

— *Чем продиктовано сопротивление расширению пределов экономической свободы?*

— Не будем обманывать себя. Некоторые политики очень любят власть, а либерализация означает для них ее ограничение. Кроме того, в каждом обществе часть людей ожидает большей защищенности из-за своих трудных жизненных обстоятельств. Такое направление всегда существует и, если не встречает достаточного сопротивления, выигрывает. В политике ситуация складывается иначе, чем на нормальном рынке, там легче продать негодный продукт — демагогию, — чем хороший. Так происходит



потому, что демагогия часто апеллирует к низменным страстям: зависти, ненависти, страху, жажде власти. Вот почему она ощущает большой потенциал силы. Поэтому так необходимо другой стороне мобилизоваться, а не оригинальничать из снобизма своей аполитичностью, как это часто, к сожалению, происходит в Польше.

— Есть еще один метод защиты от популизма в политике, применяемый в ЕС: передавать часть полномочий на наднациональный уровень.

— Это не только проблема защиты от демагогии, но задача существенной части всего европейского проекта. Она предусматривает передачу на уровень ЕС вопросов монетарной политики (зона евро), единого свободного рынка, общей внешнеторговой политики. Это имеет экономический смысл. Прогресс по некоторым проблемам все еще небольшой, хотя бы в вопросах рынка услуг.

— Раз уж мы заговорили про евро — критика относительно общей валюты звучала и со стороны либералов тоже, хотя бы Мильтона Фридмана или Гари Беккера.

— Перед введением евро многие экономисты сулили общей валюте катастрофу, но они оказались не правы. Евро — это большой успех. По моему мнению, более всего выиграли страны со слабой валютой: скажем, испанцы, греки или итальянцы прежде были в худшей ситуации, а вместе с евро они получили сильные деньги.

— Это называлось «импорт доверия». Но ведь польский злотый — сильные деньги.

— В области качества денег мы достигли, пожалуй, наибольшего прогресса в последние 17 лет. Мы перешли от валюты неполноценной и неконвертируемой к валюте стабильной и вполне конвертируемой. Но исследования показывают, что вхождение в зону евро обеспечит нам ускорение роста. Быстрое и стабильное выполнение всех условий, требующихся для вхождения в зону евро, а значит, и ограничение бюджетного дефицита, в целом благоприятным образом скажется на экономике. А то, что часть политиков любит раздавать деньги и не хочет вступать в конфликт с сильными группами давления, например шахтерами, это совершенно другая история. Польша потеряла много времени в период социализма, поэтому мы не можем отказываться от возможности ускорения нашего развития.

— Не скрывается ли за лозунгом «Отложим вхождение в зону евро» на самом деле желание сохранить высокий уровень бюджетного дефицита?

— Речь скорее идет о политических расчетах, которые скрываются за раздачей бюджетных денег. Определенную тревогу вызывают появившиеся высказывания, в которых связывают вхождение Польши в зону евро с вопросами не экономического порядка. Например, говорится, что нам не следует туда входить, ибо это означает ограничение нашей суверенности. Это же абсурд! В таком случае нам вообще не следует быть в ЕС, НАТО и ВТО, ибо вхождение в эти организации тоже означает добровольную передачу части полномочий государства. Примерно два года назад в Сейме по предложению партии «Лига польских семей» развернулись дебаты относительно вступления Польши в зону евро. Уже тогда было видно, что больше всех защищают злотый те, кто больше всех хочет нанести вред нашим деньгам. Разумеется, «суверенно» и «с национальных позиций». Только идет ли это на пользу Польше? Столь же абсурдно увязывать обладание собственной валютой с мощью государства. Разве Германия стала слабее, отказавшись от марки?

— Могут ли политические цели, такие, как создание сильного государства, входить в противоречие с экономическими?

— А что означает понятие сильного государства? Идет ли здесь речь о правовом государстве, где есть разделение властей и где соблюдают основные свободы, или же о государстве, безраздельно господствующем над личностью? Это две противоположные друг другу модели «сильного» государства. Первая модель находится в соответствии с огромным опытом, накопленным западной цивилизацией, а другая вырастает на почве иных традиций. Это и есть реальное «столкновение» цивилизаций; возможно, мы имеем дело в Польше именно с этим. Я решительно выступаю за опыт Запада, ибо эта модель оправдала себя в действительности.

— Однако бывают обстоятельства, когда можно говорить о конфликте экономических и политических целей. Например, в вопросах энергетической безопасности: более дорогие решения, то есть менее экономичные, могут быть политически более эффективными.



— Укрепление безопасности, как правило, дорого стоит. И это можно подсчитать. В любой сфере жизни можно и нужно стремиться к достижению равновесия между ощущением безопасности и другими ценностями. Ведь не имеет смысла запрещать дорожное движение ради того, чтобы достичь стопроцентной безопасности на дорогах.

— Какой по существу смысл в противопоставлении государства солидарности государству либеральному?

— Все зависит от того, что под этим понимать. Осенью прошлого года речь шла о достижении целей в избирательной кампании, что, впрочем, понятно. Было бы хорошо, однако, спрашивать у политиков, что на самом деле скрывается за их лозунгами, ибо с помощью избитых лозунгов хорошее государство построить невозможно. По-моему, увязывание понятия «солидарность» с раздутым государством, то есть с раздутой властью политиков, означает злоупотребление этим словом. Солидарность проявляется — в моем понимании — в добровольных взаимоотношениях между людьми, то есть без использования государственного принуждения. Не надо забывать, что когда-то манипулировали словом «демократия».

— Однако это довольно типичное поведение политиков ЕС. Что-то пообещать, где-то дать себе поблажку, использовать громкие слова. Не без причины в ЕС практически забыли об амбициях лиссабонской стратегии, которая должна была «разбудить» экономику Старого Света.

— В ЕС, как и в Польше, есть разные политики. Но оппортунизм везде одинаково отвратителен.

— Недавно о вас заговорили как об «иконе Третьей Речи Посполитой». Как вы себя ощущаете в такой роли?

— Я мало занимаюсь анализированием разнообразных комментариев по моему поводу. Но, поразмыслив, я бы предпочел определение «зодчий».

Беседу вели Алина Бялковская и Гжегож Гурный

OZON

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

Р. Капустинский: Об иных

К. Маслонь о польской прозе

О. Закиров: из воспоминаний

О малых родинах

А. Новак о «Великом Новгороде» Стефана Братковского

М. Выка о Станиславе Бжозовском

Г. Хлыстовский: действительно ли мы не издаем русских писателей?

Р. Пшибыльский об Иосифе Бродском и Анне Ахматовой

Б. Поцей о Ванде Ландовской

К. Яновская и П. Мухарский: Беседы к началу столетия

Наши за границей: А. Северин, В. Пшоняк, З. Рыбчинский,

А. Холланд, Р. Полянский, А. Кшивицкий и др.

Беседы Сильвии Фролов с В. Зинем, Л. Турским

СТИХОТВОРЕНИЯ

Милоша, Стахуры, Бялошевского, Хартвиг,
Яструна, Херберта и др.,

в переводах

Бродского, Базилевского, Астафьевой, Ройтмана,
Британишского, Горбаневской, Свяцкого и др.

Журнал «Новая Польша»

допущен к распространению на территории Российской Федерации
Решением Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

(Свидетельство регистрации средства массовой информации **ПИ №77-1063** от 3 ноября 1999 года)

Лучшие писатели и критики Национальная Библиотека представляет журналы:

twórczość

Старейший польский литературный ежемесячник, посвященный современной прозе, поэзии и литературной критике. Оказывает влияние на перемены в польской литературе.
тел.: +48 (22) 627-15-52;
тел./факс: +48 (22) 628-95-07
e-mail: tworczość@bn.org.pl
www.culture.pl/pl/culture/artykuly/cz_tworczość

NOWE KSIĄŻKI

Ежемесячник. На протяжении более полувека незаменимый источник информации о книгах. В каждом номере рецензии, интервью, статьи о писателях, публицистика, библиография, анонсы.
тел.: +48 (22) 826-62-60;
тел./факс: +48 (22) 826-62-35
e-mail: noweksiążki@wp.pl

Dialog

Ежемесячный журнал, посвященный современной театральной, телевизионной и радиодраматургии.
тел.: +48 (22) 608-28-80, +48 (22) 608-28-81;
тел./факс: +48 (22) 608-28-82
e-mail: dialog@bn.org.pl
www.dialog.waw.pl

RUCH MUZYCZNY

Старейший и единственный в Польше журнал, посвященный музыкальной жизни, творчеству и вопросам музыки. Выходит 26 раз в году.
тел.: +48 (22) 608-28-70, +48 (22) 608-28-71;
тел./факс: +48 (22) 608-28-72
e-mail: ruchmuzyczny@onet.pl
www.ruchmuzyczny.pl

LITERATURA na świecie

Ежемесячник. Единственный журнал, уже многие годы публикующий все достойные внимания новинки современной мировой литературы.
тел.: +48 (22) 827-47-91;
тел./факс: +48 (22) 828-64-96
e-mail: litnasw@free.art.pl

НОВАЯ ПОЛЬША

Ежемесячник. Единственный журнал о Польше на русском языке. Богатая подборка публицистики польских и российских авторов. Переводы малоизвестных в России произведений польских поэтов и прозаиков.
тел.: +48 (22) 608-25-65, +48 (22) 608-27-95
тел./факс: +48 (22) 608-27-96; +48 (22) 608-25-05
e-mail: nowpol@bn.org.pl
www.nowpol.ru

odra

Ежемесячный журнал, широко представляющий современные проблемы общества и искусства. Форум критической гуманитарной мысли. Польша и мир, история и возможное будущее.
тел.: +48 (71) 344-77-37;
тел./факс: +48 (71) 343-55-16
e-mail: odra@odra.net.pl
www.odra.net.pl

a akcent

literatura i sztuka • kwartalnik

Ежеквартальный журнал, посвященный литературе и другим областям искусства в контексте последних достижений гуманитарной мысли. Выходит в Люблине с 1980 года.
тел./факс: +48 (81) 532-74-69
e-mail: akcent_pismo@gazeta.pl
www.akcent.glt.pl

TEATR

Ежемесячник, посвященный современному театру. Обзор последних премьер в Польше и за границей, критика, эссе, комментарии.
тел.: +48 (022) 692 88 19;
тел./факс: +48 (022) 692 88 18
e-mail: teatr@bn.org.pl



Dział Wydawniczy Czasopism Patronackich

02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213, tel. +48 (022) 608 23 74; tel./fax +48 (022) 608 24 88
e-mail: czaspatron@bn.org.pl; www.bn.org.pl

Cena 6 zł w tym 0% VAT

ISSN 1508-5589



9 771508 558065